

КОНСТАНТИН
ПАУСТОВСКИЙ

Повесть о жизни

Книги IV-VI



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Константин Паустовский
Повесть о жизни. Книги IV–VI

«Азбука-Аттикус»

1958, 1960, 1963

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Паустовский К. Г.

Повесть о жизни. Книги IV–VI / К. Г. Паустовский — «Азбука-Аттикус», 1958, 1960, 1963 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-22279-3

Константин Паустовский – выдающийся русский писатель, чьи романы, повести, рассказы и очерки по праву считаются классикой отечественной литературы XX века и неоднократно переводились на многие языки мира. Для советских читателей Паустовский – это олицетворение человеческого и писательского благородства, совесть эпохи. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию в области литературы и только по политическим причинам не получил эту почетную награду. Над «Повестью о жизни» Паустовский работал 18 лет: перед нами проходит жизнь писателя – с детских лет и до того времени, когда он осознает свой литературный успех. Евгений Гришковец назвал «Повесть о жизни» одним из важнейших произведений, написанных на русском языке после Второй мировой войны: «От нее невозможно оторваться. И восхитительный, великолепный и безгранично богатый язык, которым она написана, напомнит вам о величии русской литературы». В настоящем издании публикуются четвертая, пятая и шестая (заключительная) книги «Повести о жизни».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22279-3

© Паустовский К. Г., 1958, 1960, 1963

© Азбука-Аттикус, 1958, 1960, 1963

Содержание

Книга четвертая. Время больших ожиданий	7
Предки Остапа Бендера	7
Лабиринты из фанеры	18
Ячная каша	20
Блокада	23
Хитросплетение обстоятельств	30
«День мирного восстания»	33
Австрийский пляж	39
Глицериновое мыло	42
Рубка мебели	48
Полотняные удостоверения	56
Похищенная речь	63
Мнимая смерть художника Костанди	66
«Что вы хотели, молодой человек?»	72
«Мопассанов я вам гарантирую»	77
«Тот» мальчик	84
Каторжная работа	88
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Константин Паустовский

Повесть о жизни. Книги IV–VI

© К. Г. Паустовский (наследник), 2023

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

Книга четвертая. Время больших ожиданий

Предки Остапа Бендера

В февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.

Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади – все эти Привозы, Толчки и Барахолки – превратились в бульжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебежали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи.

Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.

Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.

Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц – человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».

Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализуют, а нас все равно выкинут.

– Возможны крупные неприятности! – произнес Яша роковым голосом.

Какие именно могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.

Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.

Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».

До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.

Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне невероятно скучными из-за своего готического шрифта.

Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики – черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.

Но зато в библиотеке у профессора стояли и все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это было завидное богатство.

Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна раскрытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.

Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, – в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, – услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.

Все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.

С Черноморской улицы открывалось море – великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.

Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта.

Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.

Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей ключей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частноторговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:

– Вот уголь, уголек, уголек!

Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.

В то время Илья Арнольдович Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.

Ильф был монтером, работал он медленно. Стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.

Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.

Десятки Остапов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они всё же предлагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.

Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.

Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сюперб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.

Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.

Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда.

Я вспомнил об Ильфе и его персонаже – бесстрашном плуте Остапе Бендере – потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон баракхолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.

Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздики, как и профессорская библиотека.

Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится, но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.

Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.

В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жестяную «буржуйку» мы топили старыми газетами и быстро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.

На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.

Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно гольшей.

– Вот, – сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, – имею честь представить товарища Торелли – это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.

Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.

– Торелли или Торичелли? – придиричиво спросил Яша. Он был немного туг на ухо.

– Торелли, – уныло повторил Володя Головчинер. – Да это не важно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли – в миру Блюмкис – находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Голов-

чинер, сын киевского профессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.

Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.

Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, будто кто-то проиграл стремительную дробь на турецком барабане.

– Позвольте, я переведу, – бесстрастно сказал Володя Головчинер. – Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и по возможности без смеха.

Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходящем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.

Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четверем опытным журналистам. Надо пойти на риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам, может быть, даже дадут аванс – по несколько «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.

Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.

– Разглашать раньше времени – значит сглазить! – сказал он убежденно.

Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.

– Тогда, – сказал Торелли, – завтра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.

Он надел соломенное канотье – его он до тех пор держал за спиной – и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.

– Да-а, – задумчиво произнес Яша Лифшиц. – «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.

– Вы о чем? – спросил Володя.

– О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.

– Представьте себе, – сказал Володя, – что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!

– Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? – спросил Яша. – Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.

Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.

Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело.

Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон – синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься своей щекой к щеке спящего ребенка.

Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь, – это пришел за нами товарищ Торелли.

В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.

– Весны не будет, – сказал Яша. – Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.

Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.

– Куда вы нас ведете? – придиричиво спросил Яша. – Я предчувствую жалкую авантюру.

– Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, – торопливо ответил Торелли. – Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.

На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.

В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папах. Они даже не посмотрели на нас. Изо всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:

– Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!

Мальчишки скрылись.

Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байстрюки! Чтоб вы горели огнем на том свете!»

Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.

– Не отставайте от этой машины, – сердито прошептал нам Торелли. – Тут будет дело!

Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.

На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линиялые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, расшатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамках, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящичков.

Все это имущество охранял матрос с такой рыжей провололочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.

На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».

– Сюда! Быстро! – сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с провололочными волосами не мог нас заметить.

Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.

– Прежде всего надо выяснить, – сказал он, – что значит Опродкомгуб?

Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».

Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.

– Лучшего учреждения, – пропищал он, – нам и не нужно. В самый раз!

Тогда обозлился Володя Головчинер.

– Слушайте, синьор Торичелли, – сказал он. – Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.

Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.

Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым.

– Послушайте, – сказал он, – вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу? Или, худо-бедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд, начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! – крикнул Торелли. – Жизнь!

– А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? – спросил Яша. – Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.

– Ха! – воскликнул Торелли. – И еще раз «ха»! И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.

Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.

– Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов, – сказал Торелли. – Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, – он показал на меня, – заместителем, товарищ Лифшиц – экономистом, а я – репортером. Но главное – проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка – первая опасность.

Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.

Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.

– Служи дяде! – говорил матрос нарочито грозным голосом. – Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-цуцик! Служи дяде!

Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.

– Вот приблудилась с ночи, – сказал нам матрос, – и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же и придется! – ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать: – Ой же и надо взять такую дурную-смешную собачку! Ой же и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину!

Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга.

Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.

– Ах, какой парень! – неожиданно сказал Яша Лифшиц.

– Кто? – спросил Торелли.

– Конечно, не вы!

По темным коридорам красноармейцы, топя бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.

– Значит, так, – сказал Володя Головчинер. – Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения, пойдем к нему и попросим принять нас на работу.

Торелли взмахнул руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.

– Вы что? – спросил он свистящим шепотом. – Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы – и бенц! – прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналисты! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?

– А как? – растерянно спросил Головчинер.

Мы с Яшей тоже опешили.

– Раз не знаете, так положитесь на меня! – высокомерно произнес Торелли. – Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!

Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним.

К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.

– Пожалуй, лучше всего будет здесь, – сказал Торелли и толкнул первую же дверь.

Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!»

Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом немного помельче: «Завотделом – Головчинер В. Л.».

Мы следили за действиями Торелли, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей.

Торелли достал из кармана брюк бумажный пакетик с несколькими кнопками, вышел в коридор и приколот плакат к двери.

– Вот и все! – сказал он и радостно потер руки. – Все обдумано. Первый акт отошел. Теперь остается только ждать дальнейших событий. Присаживайтесь, прошу вас, на подоконники!

У Володи Головчинера была пачка кубанского табака, черного и сухого, как торф. Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили и начали ждать. Говорили мы шепотом. Один Торелли насвистывал вальс из «Веселой вдовы».

– Черт его дери, – неопределенно сказал Яша. – Может быть, нас действительно расстреляют?

Торелли презрительно фыркнул.

Мы сидели и прислушивались к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. Где-то даже зазвонил, как вызов из преисподней, надтреснутый телефон.

За окнами был виден Ланжероновский спуск, но не весь, а только один его живописный кусок. Море синело: норд уже иссякал.

– Мы самозванцы, – опять сказал Яша мрачным голосом. – Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти.

Тогда возмутился Торелли.

– Это мне страшно нравится! – воскликнул он. – Bravo и бис! Не смешите меня. Где вы видите самозванцев? Разве мы не будем честно работать? Если мы нашли подходящее место для приложения интеллигентских сил, так это простой здравый смысл, и только!

– Вы Спенсер, Торелли, – сказал Володя. – Кант! Президент Пуанкаре! Вы подвели железную базу под мое шаткое звание заведующего информационным отделом. У меня после ваших слов выросли крылья.

– Тише! – вдруг сказал злым шепотом Яша. – Хватит паясничать! Кто-то идет.

Действительно, по коридору кто-то шел, бряцая шпорами. Шаги были чугунные, как у Командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся, помедлил и распахнул дверь.

Мы вздрогнули.

В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров прославленных партизанских отрядов. Косматые седеющие брови густо свисали над его черными глазами. Плохо выбритое лицо отливало синеватой чернотой. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка.

Человек с маузером пристально осмотрел нас, потом прикинул глазом величину комнаты и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:

– Доброго здоровьица, други! Будем знакомы. Карп Поликарпович Карпенко. Бывший работник на ниве народного образования, а ныне ваш комендант. Кто здесь заведующий столь замечательным отделом? Кажется, товарищ Головчинер Ве Эль? Он здесь?

– Да, это я, – осторожно ответил Володя.

– Покорнейше прошу, – сказал комендант, – не позже чем через час представить мне точный реестрик потребного вам имущества, заверенный вашим подписом. Не зевайте, пока имущество не расхватили другие, более нахальные отделы. Информационный отдел всегда, знаете, остается в дураках. Имею на этот счет опыт. А почему? Потому, что интеллигенты, дорогой мой товарищ Ве Эль Головчинер, разводят нюни со всяким барахлом. Когти и кулаки надо показывать! Вот! – комендант показал нам красный волосатый кулак. Он даже повертел им в разные стороны, чтобы мы лучше его рассмотрели. – Как говорится, сто раз покрути перед носом, а один раз стукни! Сразу всякое хрюкало хвост подожмет, и воцарится полнейший порядок. И эта штука, – он похлопал по маузеру, – тоже прочищает мозги лучше, чем технический нашатырь. Не беспокойтесь. Вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное...»

Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтенье нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом:

– Очи у вас повылазили, что ли! Балет мне устраиваете! Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад!! Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы побили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу! Противно даже на вас смотреть!

После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом (так обыкновенно кричат, хватаясь за голову):

– Удерживай!!! Удерживай его, чертяку. А то завалите здание! Удерживай, говорю!..

И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся. Громopodobный грохот покотился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над

головой затрясся, и с потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топая бутсами, разбегались люди.

Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта:

– Тикайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается! Тикайте!

Внутреннее это опродкомгубовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке.

Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды: никакой выправки у них я не заметил.

Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора.

– Видали бугая? – спросил комендант. – Чуть людей не поубивал. Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик. И не стесняйтесь. Составляйте с «походом».

С этой минуты мы поверили, что «гениальный» план Торелли удался если не совсем, то по крайней мере наполовину.

Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни Опродкомгуба. Комендант оказался, по словам Торелли, «мировым хлопцем».

Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал каркать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, когда придется заполнять анкету.

Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова слышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц.

Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков.

Это был начальник Опродкомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин.

За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупях.

Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия – краснодушного философа и поэта – в окружении гремящих мечами и латами легионеров.

Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы, – учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него, всякие деляги, рвачи, хапуги, рукосуи и «леваки».

Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета.

– Оказывается, у нас есть даже информационный отдел! – сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся.

У меня упало сердце.

Агин обвел всех нас глазами и снова усмехнулся.

– Кто заведует им? Вы? Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия? Головчинер? Вы не родственник известного сиониста Головчинера? Нет? Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы

тоже могут причинить неприятности. А это ваши сотрудники? Все журналисты? Очень, очень рад! Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны.

Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначающий, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся.

Агин обернулся к нему, наклонил несколько набок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли покрылся обильным потоком и молчал.

– Ага, понимаю, – сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. – Вы совершенно правы.

Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ, кивнул нам и вышел.

Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, «как мукомол».

Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» – и роздал всем по сто тысяч рублей, по талону на получение хлеба и по анкете из ста двадцати вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял, как победитель, и троекратно, по-московски, облобызался с нами.

К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор.

Над ним висел огромный плакат: красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!»

Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расплзлась по картону и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно.

Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко.

Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнущий хмелем, – необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой.

Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было беспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой, без тюфяка койке, сказал мне:

– Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие. Про то, как мы попали в Опродкомгуб.

– Ну что ж, пойдете.

Наутро мы пришли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разваливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков.

Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов, в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар.

Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла, и, кивая головой, тихо засмеялся.

– Я ждал этой исповеди, – сказал он, – но, признаться, несколько позже. Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищен вашей выдумкой, – она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное.

– Как же вы догадались? – спросил Яша.

– Прежде всего у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на Опродкомгуб как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант, Карп Поликарпович. Он первый же и доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть, хорошие работники, и не стоит подымать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозванный отдел в структуру учреждения. Самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным. Отсутствие его было бы явным ущербом. За что и примите мою благодарность.

Лабиринты из фанеры

Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами.

Опродкомгуб к весне переехал с Ришельевской в самую гущу этих уличных акаций – в «Северную гостиницу» на Дерибасовской.

Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных (или, как говорят на юге, «диктовых») перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями.

Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу по окружавшей город Портофранковской улице.

Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные, загадочные переходы, тупики и закоулки.

Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого муравейника. Он был заполнен особой породой человеко-муравьев. Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты, в фанерные клетушки.

На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты.

В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша – тетя Мотя или тетя Рая, – и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать.

Иногда даже казалось, что никакое учреждение немислимо без фанерных перегородок и курьерш, и только при наличии курьерш и фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной «тети Моти», так и всех «тетюшек Моть» из соседних – дружественных или враждебных – учреждений. Каждая «тетя Мотя» блюла авторитет своего заведения. «Правила внутреннего распорядка» были для нее скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая!

В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и в первую очередь кассу – унылую клетушку за прорезанным в фанере кривым окошком.

В Опродкомгубе над окошком кассы было написано синим карандашом: «Товарищи! Сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами! (Основание: приказ по Опродкомгубу № 1807)».

Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами!» объяснялась просто: кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассира надоело, и он начал выдавать заработную плату большими, неразрезанными листами.

В зависимости от стоимости купюры листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевки было отпечатано на листе двадцать штук, и потому лист стоил двадцать тысяч рублей, а десятирублевки – шестьдесят штук, и лист с ними соответственно стоил шесть тысяч рублей.

Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму.

Против этого кассир не восставал: в конце концов, такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами.

В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри:

– Что! У вас руки отсохнут, если вы порежете деньги? Не хотите сами, так дайте вашим деткам. Пусть они получают удовольствие!

Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным, приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда уже больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе.

Самый несговорчивый получатель денег всегда сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел поверх очков на протестанта и качал головой.

– Стыдитесь, молодой человек! – говорил он. – Скандалить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут, где красная птичка.

С целью просветить сотрудников Опродкомгуба в области денежного обращения кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих.

То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию, – кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами.

В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы – «лимонами». Миллиардам присвоили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в тридцать и пятьдесят рублей.

Среди денег, не имевших хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральных карт. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине – не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом баржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов – от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.

Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску.

После этого деньги отпечатывались и на бумаге, и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.

После полочки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.

Ячная каша

Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.

Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.

Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.

Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах.

Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникла резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться.

Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога.

Мясо морских ракушек – мидий – мы варили с солью. В нем чувствовался сильный привкус ихтиола.

Кроме того, мидий надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду. Поэтому мидии были только летней пищей.

Лета мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещающая недалекий урожай «красненьких» (так в Одессе звали помидоры). Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше.

Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахара. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь.

Деньги уходили на ячную кашу и на воду, – за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес.

Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом.

Конечно – что говорить! – мы предпочли бы топить нашу верную «буржуйку» газетами и бумагой. Но старые газеты тоже приходилось воровать.

С точки зрения морали воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее – намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания расстриги Просвирняка.

Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря.

Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл – Боргезе, Альдобрандини или Конти. Сухой плющ обвинял треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова.

Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрок. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник.

На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие аппиевы дороги. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею, стоял тоже осыпавшийся с юга, со стороны моря, знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником.

Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил окраске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет Пергама и Эллады.

Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подыметесь летнее солнце Одессы и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев.

Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но, правда, удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам удалось даже выломать раму от дверей.

Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалять «буржуйку» и так же мгновенно кипятить на ней чай. Все дело было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинами. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров.

Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира.

После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы засветло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот расстриги Просвирняка и его же маленький охотничий топор. За это расстрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли, – его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло.

Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали сельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты.

В темноте мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой.

Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии ее не было, да и не могло быть. Кому бы пришлось в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары.

В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.

Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения.

Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом, изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой.

Я разводил огонь в «буржуйке», а Яша падал на продавленный матрас на полу, проклинал себя, «буржуйку», Одессу, Антанту и все на свете, стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова.

У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей совсем опустились, и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных дровяных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам ночи.

Блокада

В туманной области человеческих воспоминаний заключено на первый взгляд много таинственных, а на самом деле просто не объясненных вещей.

Например, воспоминания о больших событиях бывают подчас такими же зыбкими, как, скажем, воспоминания о самом сереньком деньке.

В своих писаниях я старался избежать этой зыбкости, но не уверен, что это мне вполне удалось. Память зачастую оставляет нам субъективный облик времени, тогда как мы думаем, что он объективен и точен. Так, например, вся жизнь в Одессе в конце 1920 года и в 1921 году сохранилась в моей памяти как некий сравнительно мирный отрезок времени среди гремящих и ошеломляющих событий. Чем это объяснить?

В те годы Одесса опустела. Часть рабочих ушла на север, в Советскую Россию, с первыми же частями Красной Армии, с продовольственными и матросскими отрядами. Это было еще до появления интервентов и Деникина. Часть же населения отхлынула из Одессы в деревню, спасаясь от голода и белых мобилизаций.

В городе почти не было больших заводов. Самыми крупными предприятиями считались джутовая фабрика, консервные фабрики и судоремонтные мастерские. Над городом властвовал порт с его люмпенами – грузчиками, босяками и жлобами. А на обширных городских окраинах засел упорный и изворотливый одесский обыватель.

Во время интервенции оставшиеся в Одессе рабочие всячески поддерживали подпольщиков-большевиков.

Подпольщики скрывались в каменоломнях и в самом городе. Несмотря на аресты и расстрелы, они работали так смело, что им удалось даже провести при французах и деникинцах областную конференцию большевиков, регулярно выпускать подпольную газету «Коммунист», распространять множество прокламаций, поддерживать бастовавших работников типографий, трамвая и телеграфа, взорвать поезд с военным имуществом интервентов и, наконец, создать военно-революционный комитет, который принял временную власть над городом в первые дни занятия Одессы советскими войсками.

Незадолго до взятия города, когда бои с белыми шли уже у Берислава и Перекопа, деникинская контрразведка расстреляла девять молодых большевиков-подпольщиков. Перед казнью их изощренно пытали, и средневековые эти пытки потрясли даже толстокожих одесских обывателей.

Я помню рассказы об Иде Краснощекиной, проявившей непостижимую твердость и несокрушимое мужество. На нее обрушилась вся ярость контрразведчиков.

Перед казнью подпольщики написали письмо своим товарищам на свободе. В этом письме были простые и берущие за сердце слова: «Мы умираем, но торжествуем».

В этих словах был заключен молодой пыл и великая вера в неизбежность победы, – тот пыл и та вера, что с тех пор стали неотъемлемым качеством революционной молодежи.

Ко времени второго прихода деникинцев ряды рабочих в Одессе еще сильнее поредели. Почти все заводы были закрыты. Порт зарастал сорной травой. Жизнь явно замирала, и только бешеная спекуляция пылала пышным и ядовитым пламенем.

Кроме того, в Одессе существовал большой разрыв между сознанием людей, пришедших с севера и живших уже в третьем году революции, и сознанием одесситов, живших в революции только первые месяцы.

Мне тоже пришлось пережить не одну, а три октябрьские революции: первую в Москве в октябрьские дни 1917 года, вторую в 1919 году в Киеве и третью в 1920 году в Одессе.

В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых практическому опыту обывателя-одессита.

Появились решительные и неумолимые люди (их всех одесситы без всякого разбора звали «комиссарами»), точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы.

Кажущееся спокойствие тогдашней одесской жизни объяснялось еще и тем, что зима 1920 года и весь 1921 год были в Одессе временем блокады. Море месяцами лежало, как мертвый плат, без единого пароходного дыма.

От Советского севера Одесса была отрезана разрушенными железными дорогами, налетами всяческих банд, «дикими территориями», где не было никакой власти, взорванными мостами.

Это и вызывало ту некоторую обособленность одесской жизни, какую нельзя было не заметить даже при самом беглом знакомстве с революционными событиями на нашем юго-западе.

Я часто просыпался на профессорской тахте и слушал ночь. С некоторых пор это стало любимым моим занятием.

Ночь наливалась тишиной. Я долго вслушивался в эту гудящую тишину и улавливал иногда далекий звук пушечного выстрела. Это французская канонерка «Ля Скарп» обстреливала каждую ночь Очаков.

Веская тишина и перекаты пушечного гула означали блокаду.

До сих пор я только читал это слово в исторических книгах или в старых, как зеленоватый налет на бронзе, морских романах. Но все же я довольно ясно представлял себе блокаду.

Что это было? Пустое море, где зловеще проносились быстрые сторожевые суда, бессмысленный оружейный огонь с моря по окраинным огородам, погасшие маяки, взорванный у входа в порт транспорт, стены его мачт над водой, далекий луч прожектора рядом с мерцанием Млечного Пути и легкость во всем теле от недоедания.

Если таковы были, по моему тогдашнему разумению, приметы блокады, то одесскую блокаду можно было назвать классической.

Все, о чем сказано выше, стало в то время содержанием одесской жизни. Хотя по временам нам самим казалось, что реальность так густо переплелась здесь с фантастикой, что их друг от друга нельзя отделить.

Несмотря на голод, ледяную сырость в домах, на разруху и одиночество (Яша ближе к весне переехал в город, и я остался на Черноморской один), я чувствовал временами приливы необъяснимого подъема. Я приписывал это своей молодости, хотя и не был тогда так особенно молод – мои годы уже подходили к тридцати. Но я ощущал себя восемнадцатилетним. Ко всему взрослому – положительному и благоразумному – я был враждебен, хотя временами и робел перед ним, как мальчишка.

Все в Одессе вызывало у меня такое юношеское состояние, даже длившаяся всю весну и лето блокада.

Представление о блокаде, как я уже упоминал, связано с морем, где нельзя увидеть на горизонте ни одного пароходного дыма. Так было тогда в Одессе. И это мне нравилось.

Море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара в даль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца в колебании волн.

Изредка на горизонте появлялась эскадра причудливых парусных кораблей. Они надменно плыли под белыми тугими парусами, но, приблизившись, превращались в грозные снеговые горы и неожиданно швыряли в потемневшую воду молнии и раскаты грома.

Море отзывалось на голоса этих туч, превращая один гром в сплетение многих гулких громов. Они сотрясали морские дали по всем направлениям.

Я пользовался всяким свободным днем, чтобы уйти из города на самые отдаленные станции Большого Фонтана.

Начиналась весна. Приход ее на это степное побережье был трогательнее, чем в местах, богатых растительностью. Может быть, потому, что здесь был очень виден каждый цветок, тянувшийся из-под заржавленных рельсов заброшенного трамвая, каждая трепещущая бабочка, сушившая крылья в теплых струях морского воздуха.

Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов, подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца «Занте». Он был выброшен на прибрежные скалы у Большого Фонтана, вклинился в них, и никто даже не пытался снять его с этих скал.

В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь, вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы – погреться на склепанных железных листах.

А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих трирем или цветные паруса финикийян, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда.

Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются. Ведь в баснословные времена трирем людей на земле было мало, и потому, конечно, были очень пустынными все ее моря и материки.

Сейчас же Черное море было пустым из-за блокады и еще потому, что белые, бежав из Одессы, увели с собой весь так называемый торговый флот – все пассажирские и грузовые пароходы, буксиры, баржи и катера пароходных обществ РОПИТа («Русского общества пароходства и торговли»), Черноморско-Дунайского пароходства и Добровольного флота.

Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродало его заграничным компаниям.

Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлядь, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Крапотницкого. Шая был посмешищем морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг даже извозчики. Служить на пароходах Крапотницкого соглашались только отпетые неудачники. Жалованье из Крапотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот.

Шае принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», ходивший из Одессы в Аккерман и описанный Катаевым в повести «Белеет парус одинокий». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что «Тургенев» принадлежал пароходной фирме «Мишурес и сыновья».

Где-то на мусорных задворках Нефтяной гавани, на «корабельном кладбище», осталось несколько развалившихся пароходов, предназначенных на слом, и среди них проржавевший насквозь «Димитрий», тоже принадлежавший пресловутому Шае. Этот пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни.

Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков, в излюбленное место престарелых рыболовов.

Молы заросли овсом (от рассыпанного зерна) и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на одесском судостроительном заводе Беллино – Фендерих.

На широких молах портовые сторожа разводили огороды.

Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разговоры.

По всем огородам стояли пугала и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугала изображали бродяг и пропойц в рваных тельняшках и брюках клеш из дырявой мешковины.

На тряпичные головы этих бродяг были напялены детские ватные капоры или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков вот-вот исполняют «танец смерти» или канкан.

Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на Карантинном молу. Оно изображало прощельгу в шкиперской каскетке, с бутылкой водки в руке. Прощельгу этого прозвали «Жорой с Дюковского сада».

Вместо водки в бутылке была морская вода. Но это не мешало завсегдатаям порта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать.

Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимый для воробьев.

Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развевались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь.

Все это (в том числе и пугала в порту) было косвенными приметами блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно (в начале лета даже старый знакомец «Ля Скарп» удалился от одесских берегов), и потому ей сопутствовали разные мирные, а иной раз и идиллические занятия жителей.

Война с белополяками не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне Очакова и Кинбурнской косы, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга, – немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развевая на гафеле грот-мачты выцветший андреевский флаг.

Были еще и другие блокадные приметы. Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей.

Мы, работники Опродкомгуба, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, насытить, как в евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек.

Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, «по литерам». Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита, от «А» до «Я», и хлеб выдавался в зависимости от литеры: по «А» больше всего, а по «Я» давали почти невосмое его количество, очевидно только для канареек.

Я получал хлеб по литере «К».

Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникшей паникой, насмешливым обсуждением высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно – так же, как рассеивается пыль после взрыва.

Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь растопыренной пятерней.

В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности жеста она представляется мне образцом уличных скандалов.

В очереди стоял кроткий старец-еврей в длинном, до пят, потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно рассматривал очередь через необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман.

Это был, конечно, ученый, может быть, даже цадик, старый философ с Портофранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположения к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах.

Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли канареечного цвета.

Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках. Весь город наполнился их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах.

Молодой человек соображал, как бы незаметнее и без скандала втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой. Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротivления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, стал перед ним и небрежно сказал:

– Я извиняюсь!

Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь под самую «душу». При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку:

– Нет, это я извиняюсь!

Молодой человек икнул, отлетел и ударился спиной об акацию. Кепка упала у него с головы. Он подобрал ее и пошел, не оглядываясь, к перекрестку. Только на перекрестке он наконец обернулся, погрозил старику кулаком и сказал, всхлипывая:

– Каторжанин! Старый бандит!

Очередь молчала. Коллективная мысль, захваченная врасплох этим событием, еще не оформилась и не получила ясного выражения. А старик вытащил из кармана книгу, углубился в нее, выскивая, очевидно, какую-нибудь истину, пригодную для обсуждения с приятелями-стариками в тихих дворах Портофранковской улицы.

Дни блокады казались безмятежными некоторой части населения Одессы только из-за полной неосведомленности о том, что происходит вне города. На самом же деле положение для молодой еще Советской власти было грозным и напряженным. Нужна была большая находчивость и вера в свои силы, чтобы выйти из нависшей над городом опасности.

Дело в том, что после бегства белых из Одессы на окраинах города и в немецких колониях, во всех этих Либенталях, Люстдорфах и Мариенталях, застряло около семидесяти тысяч деникинских офицеров и солдат.

Союзники рассчитывали, опираясь на них, поднять в Одессе восстание и поддержать его с моря огнем своих кораблей.

Кроме того, в предместьях – на Молдаванке, Бугаевке, в Слободке-Романовке, на Дальних и Ближних Мельницах – жило, по скромным подсчетам, около двух тысяч бандитов, налет-

чиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого и прочего темного люда.

Настроение этого разнообразного и нервного общества было неясным. Бандиты вообще отличаются истеричностью и непостоянством привязанностей. Никто не мог знать, как они себя поведут, если случится восстание.

В Одессе в то время было мало советских войск. А между тем союзная эскадра уже крейсировала у берегов Одессы, выслав вперед для разведки итальянский миноносец «Ракия».

И вот произошел случай, резко изменивший всю обстановку. Миноносец «Ракия» наскочил на мину на траверзе Большефонтанского маяка. Внешним проявлением этого события был только легкий гул, докатившийся до города с моря. Но он никого не встревожил.

По приказу Одесского губкома рыбаки с Золотого берега, Большого Фонтана, с дачи Ковалевского и из Люстдорфа – люди опытные и спокойные – немедленно вышли на своих шаландах к месту взрыва, подобрали уцелевших итальянцев, сняли с тонущего миноносца убитых и доставили их на берег раньше, чем успели подойти на помощь корабли эскадры.

Тела погибших итальянцев привезли в Одессу. Командующему эскадрой было передано радио. В нем сообщалось, что город, удрученный этим несчастьем, берет на себя похороны доблестных итальянских моряков, приглашает командира эскадры прибыть на торжественную церемонию и просит выслать для отдания последних почестей погибшим отряды моряков.

Адмирал ответил согласием, – больше ему ничего не оставалось делать.

А наутро от порта до Куликова поля около вокзала, где была приготовлена братская могила, выстроились красноармейские части и отряд наших моряков без оружия. На всех домах висели траурные флаги. Путь похоронной процессии был усыпан цветами и ветками туи.

Сто тысяч одесситов присутствовало на этих похоронах – почти все тогдашнее население города.

Гробы несли на руках портовые рабочие. За ними шли с винтовками, опущенными дулами к земле, загорелые итальянские матросы.

Играли оркестры с иностранных судов и сборный оркестр Одессы. Он не ударил в грязь лицом, и надрывающие сердце траурные звуки шопеновского марша заставляли чувствительных одесситок плакать, утирая глаза концами шалей.

В церкви Ново-Афонского подворья печально и похоронно звонили колокола. Крыши домов были черны от людей.

Над могилой говорили речи. Итальянцы слушали их, держа винтовки «на караул». Потом отдаленный прощальный залп кораблей слился с ружейным залпом на Куликовом поле. Братская могила превратилась в пирамиду цветов.

После похорон для иностранных моряков был устроен в бывшем кафе Фанкони ужин. На него товарищ Агин истратил почти весь неприкосновенный запас продовольствия.

После таких похорон не могло быть, понятно, и речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками их погибшим товарищам, и растроганы дружеским приемом.

Старый адмирал, похожий, как говорили, на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что проиграно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь. И эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров.

Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов.

Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов эскадры с нашими рабочими и солдатами и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность.

Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами.

Потом в одно безоблачное утро у Карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки, турецкие фелюги из Скутари – первые торговые суда в Одессе.

На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыло из Турции на двух фелюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бочонок маслин.

Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, даже сразу изменилось: весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какой я на нем до тех пор не видел.

Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых хотя и в чужой, но прекрасной стране.

Хитросплетение обстоятельств

Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом в доказательство своей правоты он приводил слова из чеховского «Иванова»:

«Жизнь наша... Жизнь человеческая подобна цветку, пышно произрастающему в поле: пришел козел, съел – и нет цветка...»

Торелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя.

Он утверждал, что Одесса – взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году.

Интервенты разделили город на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перетасили часть стульев к себе – отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, «страшный шумер» и начал даже стрелять.

Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав: произошло причудливое и неожиданное сплетение (или, как говорил Володя, «хитросплетение») обстоятельств.

В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли.

– Вставайте! – крикнул он мне через дверь. – Кажется, в Одессе началась новая интервенция.

Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой и нежной дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, «розовоперстую Аврору» – тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта – два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом.

Рядом с пароходами стоял элегантный и длинный, как серая сигара, французский контрминоносец «Лейтенант Борри». Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц.

Мы пошли в порт, но нас туда не пустили. Порт был оцеплен отрядами красноармейцев и наших матросов.

Французские транспорты медленно и осторожно подтягивались к причалам.

Мы узнали, что контрминоносцем «Лейтенант Борри» командовал известный и весьма изысканный французский писатель-морьяк Клод Фаррер, автор книги «В чаду опиума».

Само по себе это было тоже интересно. Но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов.

С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы, и не кофейные сенегальцы, и даже не солдаты французского Иностранного легиона, а наши русские солдаты в новенькой, с иголочки, защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, – это скрипучие краги из желтой глянцевиной кожи.

Солдаты выстраивались на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских командиров.

Да, через час мы уже знали всё. Это «всё» заключалось в том, что во время первой мировой войны по прихоти Николая Второго во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый Экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель.

Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными французенками, осыпавшими офицеров и солдат цветами.

Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с захватской песней:

Чубарики-чубчики, горе не беда!

Потом в России произошла революция, русские солдаты, естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагеря для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве.

В конце концов французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с Советским правительством, отправили под конвоем в Одессу.

Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы.

Но затем произошло нечто совершенно загадочное.

Когда разгрузка была окончена и транспорты тут же отвалили от причалов и в сопровождении контрминоносца «Лейтенант Борри» начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громopodobный орудийный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов.

Транспорты застопорили машины, а контрминоносец развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня: миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом.

На оцепленном Приморском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные и суровые матросы с маузерами на поясах работали молча и быстро.

Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков.

Французы решили одним ударом убить двух зайцев: избавиться от революционных русских солдат, а на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие Врангелю.

Одесские власти узнали об этом от солдат Экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжения из Москвы.

Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе.

Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал д'Ансельм. Даже его союзники – деникинцы – считали, что д'Ансельм глуп как пробка и скуп, как Плюшкин.

Прошло два дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это кончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар: трубы транспортов все время дымились.

Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы.

Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эскадрой передал в Одессу радио с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены.

Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой.

В день ухода французских транспортов я пошел на Фонтаны, откуда было видно открытое море. С обрывистого берега я увидел морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма. Это подходила французская эскадра. Она остановилась в нескольких милях от берега, дожидаясь своих транспортов.

Транспорты уходили полным ходом. За ними неся, юля и перебегая от транспорта к транспорту, контрминоносец «Лейтенант Борри». Все же одна из наших батарей не выдержала и дала вслед уходящим французам залп шрапнелью.

Я испытал тогда жестокую обиду за Францию и за французов, обиду за великую французскую культуру, за Дидро и Вольтера, Гюго и Стендаля, за Золя и Коро, за Пастера и Делакруа, за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов. Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции и их представителем – надутым как петух генералом д'Ансельмом. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость.

«День мирного восстания»

Электричество в Одессе давно не горело. О нем забыли. Лампочки обросли пыльной корой. Выключатели, если их случайно поворачивали, взвизгивали от ржавчины.

Единственным человеком из нас, который радовался этому, был Володя Головчинер.

– У каждого времени, – говорил он с апломбом, как будто открывал необыкновенную истину, – есть свой стиль. Стиль нашего времени – приближение к патриархальной жизни. Посудите сами, электричество ушло в невозвратное прошлое. Трамвайные рельсы зарастают крапивой. На площадях городов цветет картошка. Из воздуха исчезли последние молекулы копоти. Вместо обуви мы носим греческие котурны, а вместо водки пьем чистую воду. Помоему, это прекрасно. Начинается золотой век.

Однажды мне нездоровилось. Я не пошел в Опродкомгуб и до вечера пролежал у себя в дворницкой. Стояла поздняя весна. Цвели каштаны, и над морем взошел затуманенный месяц.

Я мирно читал при копилке десятый том энциклопедии Брокгауза и Ефрона, как вдруг произошло нечто непонятное и тревожное – тонкий волосок в электрической лампочке под потолком начал желтеть и, далеко не дойдя до полного накала, остановился и замер. Он залил все вокруг таким тусклым и неприятным светом, как будто комната превратилась в морг.

Я оцепенело смотрел на лампочку, соображая, почему она горит так тускло. Очевидно, немощный ток с натугой протискивался по ржавым проводам, едва пробивался через пыльные соединения, обмотанные высохшей изоляционной лентой, и застревал в затянутых паутиной механизмах электрических счетчиков.

«В конце концов он разгорится», – уверял я себя, но свет не усиливался, а, наоборот, убывал. Но его все-таки было вполне достаточно, чтобы осветить ряды хмурых профессорских книг в дубовых шкафах.

Я подумал, что неожиданный свет загорелся, конечно, неспроста. Он был загадочным предостережением. Подумал так, конечно, не я один. В Одессе началась скрытая паника. Одеситы поняли, что появление света предшествует неприятностям. Но каким?

На это намекнул мне Торелли. Он постучался и вошел в дворницкую желтый, с побелевшими глазами. Через руку у него было перекинута новенькое женское пальто с обезьяньим воротником.

– Я вас попрошу, – сказал Торелли торопливо, – повесить это пальто у себя на вешалке. На несколько дней. Это пальто моей сестры.

Я был озадачен, но взял у Торелли пальто и повесил в шкаф. Пальто было легкое и пахло духами. Очевидно, после болезни сестра Торелли Рахиль – еще молодая и миловидная женщина, рыжая от веснушек, – не надевала это пальто ни разу.

– А в чем дело? – спросил я Торелли.

– Дело в логике. – Торелли неестественно хихикнул и потер руки. – Мы с вами прекрасно знаем, что в Одессе угольного штыба для электростанции хватит всего на три ночи. А между тем станцию пустили. Значит, за три ночи что-то произойдет. И это «что-то» обязательно требует электрического света.

– Что же может случиться? – растерянно спросил я.

– Я знаю?! – Торелли пожал плечами. – Варфоломеевская ночь! Избиение младенцев! Похищение сабинянок! Последний день Помпеи! Что вам больше понравится. Привет, до завтра!

И он исчез, оставив меня в полном недоумении.

В конце концов, ничего не придумав, я лег спать. Выключатель, когда я повернул его, заверещал, но лампочка не погасла. Я начал вертеть выключатель. Он пищал все пронзительнее и злее, но лампочка продолжала гореть. Она даже не мигала. Тогда я влез на стул, обернул

лампочку газетой и попытался вывинтить ее. Но она прикипела к патрону и потому лопнула со звуком выстрела и погасла, теперь уже навсегда.

Я лег, не закрывая окон. Гул моря то сонно вкатывался ко мне в дворницкую, то отливал из нее так равномерно, что быстро усыпил меня.

Проснулся я на рассвете. Капли росы собирались на ветках туи за окном. В саду было тихо и пусто. Только в углу, около стены, где всегда стояла старая бочка с известью, чернело нечто большое и бесформенное.

Я долго всматривался в эту черную кучу, похожую на копну сена. В куче было что-то пугающее, но я пересилил страх, вылез в сад через окно и подошел к ней.

Куча состояла из нескольких старых, но дорогих шуб. Была шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником, было два старомодных демисезонных драповых пальто, были каракулевая женская шуба и меховой жакет из кенгуру.

Под слоем шуб я нашел низенькую, обитую штофом табуретку на вычурных золоченых ножках. Такую табуретку я видел как-то в театре на «Пиковой даме» под ногами у старой графини.

Я хотел вытащить табуретку, чтобы рассмотреть ее, но не рассчитал своих сил – поднял ее и тут же уронил. Мне показалось, что табуретка налита свинцом.

Я ударил по ней ногой и услышал, как внутри нее, под нарядным штофом эпохи Людовика XIV, звякнуло нечто металлическое. Тайна сгушалась. Но прежде чем заняться ее разгадкой, я побежал за хлебом в ближайшую лавку. Она была открыта только два часа в день. Я боялся опоздать и остаться без хлеба.

Когда я вернулся, то куча шуб оказалась уже прикрытой соломой и старыми листьями так тщательно, что никто бы и не подумал, что здесь что-то спрятано.

История эта, как все непонятное, начала меня раздражать. Я знал, что ключ от единственной калитки со двора в сад был у Просвирняка, и пошел к нему за объяснениями.

Поведение Просвирняка всегда было для нас своего рода барометром. Если при встрече с Яшей или со мной он отводил глаза, делал вид, что плохо нас слышит, и, разговаривая, перебивал нас и кричал на кухню работнице, бывшей монахине: «Неонила, не лейте так много постного масла!» – или еще что-нибудь в таком же роде, то это означало, что положение Советской власти в Одессе в какой-то, даже в самой маленькой степени пошатнулось.

Если же Просвирняк был настроенно-любезен и хохотал неестественным басом, подбирая снизу обеими руками свою черную бороду, то это свидетельствовало о крепости Советской власти.

На этот раз Просвирняк был сдержанно-любезен, но глаза у него побелели от злобы. Выслушав мой рассказ о залежах шуб и табуретке, он смиренно, но подчеркнуто ответил:

– Вам, глубокоуважаемый Константин Георгиевич, как советскому служащему хотя и с ограниченной, но все же с некоторой ответственностью за деяния ваших хозяев, надлежало бы знать, что с сегодняшнего числа в Одессе объявлен «День мирного восстания». Продлится этот день, по разъяснению властей, четыре дня.

– Я не был еще в городе, – ответил я. – Что это за «День мирного восстания»?

– Так вот, попрошу ознакомиться! – Просвирняк положил на стол передо мной серый листок бумаги. Руки его тряслись. – Собственноручно отклеил от стены своего дома вчера в одиннадцать часов вечера.

Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется «День мирного восстания».

В этот день у всех без исключения граждан будут отобраны излишки вещей и продовольствия, кроме самых необходимых, указанных в списке.

Я просмотрел этот список. Там было напечатано: «Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней носильной одежды, комплект белья, пару ботинок (кроме сапог), головной убор» и так далее, вплоть до «одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и ста граммов сахара».

«В случае нахождения золота и драгоценных вещей, иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции скрывающие их лица будут преданы суду как за измену родине и контрреволюцию».

– Хана! – неожиданно сказал Просвирняк, и я даже вздрогнул. Впервые я услышал из его медоточивых уст крепкое слово.

– Так вот, Даниил Семенович, – сказал я, – будьте добры забрать из-под моих окон все ваши вещи и спрятать их, где вам будет угодно. Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом.

– Вы глубоко ошибаетесь, Константин Георгиевич, – ответил расстрига нежным голосом и прижал руки к груди. – Напрасно гневаетесь. Две шубы, правда, мои, а табуретку принесла свояченица генерала Ренненкампа. По сердолобию своему не мог отказать, поскольку сам прятал при ней собственный скарб. Войдите в мое положение. Как стемнеет, я все унесу.

– Хорошо, – согласился я. – До вечера так до вечера.

Просвирняк, забыв, должно быть, что он расстрига, воздел руки к небу и сказал вдохновенным и лживым голосом, как с амвона (при этом глаза его на мгновение сверкнули бешеным огнем):

– Братоубийственные времена! Поистине нет предела человеческой скверне и проискам антихриста!

Он опустил руки и продолжал уже обыкновенным голосом:

– Вас я уважаю, но жилец из третьей квартиры, монтер товарищ Гаварсаки, повергает меня в смятение. Он скупает взрывчатые вещества. Когда-нибудь всех нас заберут вместе с ним и поставят к стенке. Ручаюсь головой! Опасайтесь его! Посматривайте, чтобы он не закопал в саду свою дьявольскую пиротехнику. А шубы – это пустое дело. Ну в крайнем случае «товарищи» отберут. Я готов ко всему.

Я ушел, нисколько не сомневаясь, что Просвирняк не уберет из сада свои вещи. И я оказался прав. Когда я вернулся к вечеру вместе с Яшей, то куча вещей уже протянулась вдоль ограды целым валом. Вещи так же тщательно были укрыты соломой, как и первая куча, теперь уже казавшаяся мне ничтожной.

Около вала из вещей сидел на венском стуле и дремал почтенный старец с вылинявшими баками. Он выглядел настолько старомодно, что можно было подумать, будто в саду идет съемка фильма из времен Гончарова или Островского.

– Вещи вы, конечно, не убрали, – сказал я Просвирняку. – Ну да бог вам судья. Но что за персонаж сидит в саду на стуле?

– Страж, – таинственно ответил Просвирняк. – Между нами говоря, вещей понатаסקали со всей Черноморской: уж очень место укромное. Но людей, естественно, пробирает двойной страх. С одной стороны, все могут отобрать власти, а с другой, не ровен час, наскочат одесские налетчики. Вот и решили караулить по очереди. До минования опасности. Товарищ Гаварсаки тоже совался в сад со своей пиротехникой. Но я его не пустил.

– С какой пиротехникой?

– Сулеи хотел спрятать. Двухведерные бутылки с неизвестной жидкостью. Убогий умом человек этот Гаварсаки.

– Нда-а-а! – сказал Яша, ознакомившись с общим положением в саду и в доме. – Я могу предсказать, что дело у вас окончится хорошенькой катастрофой.

В городе в тот день меня прежде всего поразило невиданное уличное оживление. Особенно бросалось в глаза большое количество детских колясок всех сортов и вообще обилие

всяких приспособлений для перевозки мелких вещей, вплоть до навьюченных, как мулы, велосипедов и маленьких деревянных платформ на низеньких колесиках. Среди детских колясок большинство представляло совершеннейшие развалины, связанные рваными веревками.

Весь этот поток детских колясок катился в сторону Греческого базара. Туда же, грохоча, резво бежали подталкиваемые сзади деревянные платформы. Туда же торопились запыхавшиеся люди с узлами и чемоданами. Туда же тащили настольные лампы и швейные машины, грудастые портновские манекены и зуболюбные кресла.

Могучее это движение происходило в тишине. Особенно удивительно было полное молчание детей в колясках. Все дети, очевидно, спали богатырским сном. Никто из них ни разу не заплакал, не вскрикнул. Кроме того, все эти наглухо закрытые и закутанные в колясках дети были, очевидно, будущими исполинами: коляски прогибались под их неимоверной тяжестью. Колеса скребли по ободранным кузовам.

Стихийное движение колясок длилось весь день. Служащие Опродкомгуба наблюдали за ним из окон. Малейшая остановка или замедление вызывали у зрителей беспокойство. Люди, высунувшись из окон, тревожно окликали людей, толкавших коляски:

– Что там? Не пропускают? Тогда заворачивайте на Пересыпь. Туда придут в последнюю очередь.

– Да нет, пропускают, – неохотно отвечали с улицы. – Тут только одна коляска развалилась и всех задерживает.

– А что в ней? – с живым интересом спрашивали из окон.

– Да банки с халвой, – отвечали с улицы. – Там ее пудов пять, этой халвы. Целое депо!

Как только я пришел в Опродкомгуб, Торелли объяснил мне смысл происходящего в городе передвижения людей и колясок из одного квартала в другой.

Этой ночью изъятие излишков было произведено в районе Греческого базара. Поэтому жители других районов, скажем Вокзального, где изъятия еще не было, свозят к Греческому базару, как в безопасное убежище, свои ценные вещи. А завтра, если очистится Вокзальный район, весь этот поток колясок и людей хлынет обратно, чтобы освободить место для вещей с Французского бульвара.

– Это как на войне, – сказал Торелли. – Вы же знаете, что снаряд редко попадает два раза в одно и то же место. Поэтому, чтобы спастись, лучше всего прятаться в свеженькую воронку. Так вот, наш Греческий базар и оказался такой воронкой.

Всю ночь мы с Яшей не могли уснуть. За окнами шмыгали, как летучие мыши, владельцы вещей, сваленных в саду. При малейшем шуме они будто проваливались сквозь землю.

Не могли мы уснуть еще и потому, что каждую минуту ждали появления отряда, производящего обыски. Никто из нас не знал, когда дойдет наконец очередь до нашей Черноморской улицы.

Поэтому мы с Яшей лежали, прислушиваясь к необъяснимым шумам, долетавшим с улицы и из сада, и развлекались тем, что старались найти причину каждого звука.

Из главного дома слышался тихий гул. То был слитный встревоженный шепот жильцов всех четырех квартир. Но в этом гуле все же выделялись нудные жалобы товарища Гаварсаки. Ему все не удавалось сбросить с рук свои сулеи с неизвестной взрывчатой жидкостью.

– Не к добру мы развеселились, – говорил Яша Лифшиц. – Я на вашем месте вытащил бы из вещей в саду эту табуретку с золочеными ножками и выкинул ее к чертям. Забросил бы в соседний двор, что ли? Вы понимаете, что из-за нее вы рискуете головой? Как вы докажете, что она не ваша?

– Так встаньте и выкиньте сами, – спокойно ответил я. – Будете иметь дело со всей оравой владельцев. А мне теперь все равно.

Яша промолчал, но по его сопению я понял, что он начинает злиться.

– Эй, вы, представители имущих классов! – вдруг, вспыхив, прокричал он в окно, за которым испуганно метнулась чья-то грузная тень. – Губернаторы и статс-дамы! Перестанете вы мельтешить у нас под окнами или нет? Спать не даете с вашим козлом!

У Яши от гнева поднялся, как всегда, хохолок темных волос на затылке. В саду и в доме после Яшиного крика «воцарилась», как говорится, испуганная тишина. Я начал хохотать, уткнувшись лицом в подушку.

– Вы чего? – накинулся на меня Яша.

– Во-первых, – ответил я, – вы не знаете значения слова «козлом», а во-вторых...

Но я не успел досказать. В комнату без стука вошел со двора товарищ Гаварсаки. Он молча, но с укоризненным видом остановился в дверях. Он даже скрестил на груди руки.

– Вам что угодно, молодой человек? – спросил его Яша. – «Спокойной ночи!» – как говорят в таких случаях хамам.

Но Гаварсаки даже не посмотрел на Яшу. Надо кстати сказать, что Гаварсаки обладал наружностью, которая могла смутить самого невзыскательного человека. Его длинное землистое лицо с вытянутым и несколько отогнутым в сторону черным носом, его маслянистые глаза, обведенные желтыми скорбными кругами, его заплетаящиеся ноги и бубнящий голос выдавали неудачника, привыкшего безропотно сносить удары судьбы. Соображал Гаварсаки очень туго, и никогда нельзя было поручиться, что он понял все, что ему говорят.

Гаварсаки продолжал молчать и долго и внимательно, приоткрыв рот, осматривать дворничью. Потом он наконец произнес:

– Можно бы поставить вот тут, за дверью... Так туда влезет только одна сулея. А их у меня три.

В глазах у Яши я увидел испуг.

– Что он говорит? – спросил Яша. – Чего он хочет?

– Или засунуть их в шкаф? – спокойно спросил самого себя Гаварсаки. – Вещи у меня аккуратные. Чистый эфир.

– Какой эфир? – с ужасом спросил Яша и сел у себя на койке.

– Я же вам говорю – чистый. «Этер сульфурikus». Вы что, шутите? За каждую сулею дают три пуда муки и бутылку лампадного масла. Это вам не жук начихал на скатерть. Если найдут, ну тогда, конечно, вас под нготь и к стенке! Но в дворничью к вам они не зайдут. Клянусь жизнью. Это же нежилое помещение, подсобное. На что оно им сдалось! А у меня сулеи стоят прямо посередине комнаты, как на сцене. У меня от этого нервозность разыгрывается. Я, товарищи, теряюсь до головной боли.

Яша вскочил, вплотную подошел к Гаварсаки и сказал шипящим, неслышанно злым голосом:

– Вон отсюда, иначе я вышвырну вас за дверь, как щенка. Вон!

Гаварсаки с удивлением посмотрел на Яшу, поскреб в затылке и неохотно вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Перед этим он спросил меня:

– Он что у вас? Сильно психический?

Яша запер дверь на ключ, задул коптилку, лег, долго ворочался в темноте и проклинал себя за то, что нелегкая принесла его на Черноморскую улицу.

Я начал засыпать. Станный, несколько резкий запах доходил до меня из глубокой дремоты. Я внезапно почувствовал, что теряю вес и у меня медленно, но верно останавливается сердце.

Оно ударило едва слышно в последний раз, потом затихло совсем без всякой боли и страха, и волна теплой, блаженной свежести окутала меня. Я даже засмеялся от наслаждения.

Тотчас я услышал, как будто из глубины вселенной раздался громopodobный рев Яши Лифшица:

– Вставайте! Скорее! Эфир!

Яша дернул меня за ногу. Я тяжело сел на койке и снова упал на нее. Яша схватил меня за плечи и, шатаясь, подтащил к низенькому оконцу дворницкой.

– Вылезайте в сад! – кричал он и толкал меня в спину. – О проклятый, сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки! Скорее! Мы пропадем! Скорее!

Я с трудом высунулся в окно. Оттуда кто-то подхватил меня и выволок в сад. Эти был Торелли. За мной вылез в окно Яша. В дворницкой стоял сильный, неприятный запах.

– Заклинаю всех господом богом! – рыдающим голосом кричал Просвирняк, воздевая руки к небу. – Не курите здесь и не зажигайте огня! Покорнейше умоляю! Иначе дом взлетит на воздух. Не подходите к канализационным колодцам. Это смертельно!

Я пришел в себя. Чуть светало. Сад был полон испуганных жильцов. Все они жались к каменной ограде.

Под старой акацией лежала на подостланном одеяле сестра Торелли.

– В чем дело? – спросил я, озираясь. – Был обыск?

– Как бы не так! – ответил мне Торелли фальшивым бодрым голосом. – Бог вместо обыска предпочел сотворить чудо.

Тогда все жильцы вдруг начали, как по команде, смеяться. Женщины качались от смеха, прикрывая рты платками. Мужчины беззвучно тряслись. Торелли хихикал и взвизгивал, а Просвирняк похохатывал, приглаживая бороду. Даже Яша кашлял от смеха и отплевывался.

Мне стало страшно.

– Перестаньте! – крикнул я. – Что случилось?

Оказалось, что в два часа ночи отряд, производивший обыск, дошел до соседнего дома. Тогда обезумевший от страха Гаварсаки схватил свои сулеи с эфиром, вылил их в отлив в уборной и тотчас исчез в неизвестном направлении.

Тяжелые, ядовитые волны эфира хлынули в дом, ворвались по трубам в дворницкую, в соседний дом, начали сочиться сквозь фланцы и расползаться из канализационных колодцев по улице и дворам.

Все население нашего и соседнего дома успело бежать. Сестру Торелли едва вынесли на руках. Отряд отступил, обошел зараженные эфиром дома и, явно торопясь, чтобы не угореть, начал обыскивать дальние дома. К утру он ушел, грозя найти Гаварсаки хотя бы на дне морском и оторвать ему голову.

В тот же день вещи из сада рассосались по владельцам. Они исчезли удивительно быстро и незаметно. Расстрига подмел сад, потом прошел дождь, прибил пыль, смыл все следы ночного смятения, и снова синяя приморская тишина плотно окружила дворницкую и больше уже не исчезала.

Яша вернулся к себе в город. Вместо него ко мне на Черноморскую переехал Володя Головчинер.

Такова уж во все времена человеческая благодарность. Гаварсаки возвратился домой через неделю невредимый, но иссохшийся и очумелый. В квартирах еще пахло эфиром.

И несмотря на то что Гаварсаки спас жильцов дома от обыска, все они дружно обрушились на него. Почти не было дня, чтобы они не рассказывали о нем всяческих смехотворных и глупых историй.

Гаварсаки скреб затылок и безуспешно пытался найти у жильцов хоть каплю сочувствия. Но ее не было. Только Володя Головчинер терпеливо выслушивал его. Но когда Гаварсаки уходил, он тоже вздыхал и безнадежно качал головой:

– Нет, такой гражданин, конечно, керосина не выдумает!

Австрийский пляж

Карантинную гавань защищала от моря высокая стена из бетонных плит. Стена эта переходила в рейдовый мол.

Сильные зимние штормы пробили в этой стене широкую брешь и намыли под стеной со стороны моря небольшой песчаный пляж. Первыми начали пользоваться этим пляжем во время интервенции австрийские солдаты. Поэтому этот очень уютный, теплый и пустынный пляж и получил название «Австрийского».

До этого пляжа идти из города было дальше, чем до большого Ланжероновского. И на Австрийский пляж ходили только любители безлюдья. А может быть, и любители той морской старины, какая сохранилась главным образом на гравюрах в пожелтевших журналах. Потому что на Австрийский пляж надо было идти через порт, мимо вросших в землю, разряженных шарообразных мин и окрашенных в желтый и красный цвет буюв, мимо каменных трапов к воде и сигнальных мачт, старых шаланд и бухт истлевшего каната, наконец, мимо загадочного маленького дома на молу с белой башенкой и проржавленным балконом. Первый этаж этого дома был глухой, без окон. Это придавало ему некоторое сходство с фортом или блокаузом.

Дом покрывала марсельская черепица. Вокруг его флагштока часто пел ветер, а в окне второго этажа за плохо задернутой занавеской виднелись выцветшие карты на стене и сваленные на подоконнике книги. В этом морском доме никто не жил. Если бы мне разрешили поселиться в нем, то я, конечно, счел бы себя счастливейшим человеком на свете.

Я украсил бы этот дом не только новыми картами и книгами, но просквозил бы его морским воздухом, прогрел бы солнечным светом, казавшимся розовым среди сплошной синевы, залегшей вокруг.

Австрийский пляж был местом, как бы созданным для чтения тех книг, какие нужно читать медленно, часто откладывая их, чтобы порыться в песке и невзначай найти осколок горного хрусталя.

Он был прекрасным местом для дремоты. Ветер открытого моря щекотал глаза, и солонватый кислород долго не уходил из легких, вызывая слабое опьянение.

На Австрийском пляже среди немногих его завсегдатаев я встречал Илью Ильфа (тогда у него еще не было псевдонима, и все звали его Илюша Файнзильберг). Мне нравилось его спокойное и грустное лицо. Всегда казалось, что какие-то полусны-полурассказы владеют им, и потому он часто засыпает на пляже и его приходится будить на закате.

Много лет спустя я прочел в «Записных книжках» Ильфа несколько записей. С тех пор я не могу избавиться от мысли, что все это пришло ему в голову именно тогда, в 1921 году, на Австрийском пляже. Приведу здесь одну такую запись.

«Раньше перед сном являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландским боем. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находилось в море. А в гаванях было тихо, пусто, тревожно».

«Я долго рассматривал пустые гавани». Тогда в Одессе не было, пожалуй, более привычного и грустного занятия, чем рассматривание пустых гаваней со множеством их подробностей. Они были особенно милы, эти подробности. Спокойный свет, жар полуденного солнца и близость тугой играющей волны придавали им живописность крайнего юга.

В жизни мне пришлось много действовать. Действие все время передвигало жизнь из одного положения в другое, вело ее по разным руслам и поворачивало под разными, подчас самыми причудливыми углами.

Но в этом не было ни суеты, ни лишних разговоров, ни беспорядочного общения с любыми людьми.

Наоборот, действие соединялось с жадной наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле.

Я невольно подцвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью.

Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы. Может быть, поэтому писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа.

Вот это желание рассматривать жизнь сквозь увеличительное стекло сильно захватило меня в Одессе и было, безусловно, связано с шатанием по порту и с безмятежными часами, проведенными на Австрийском пляже.

Время сгладило острые, как зубрины, горести и беды того времени. Память неохотно обращается к ним. Она предпочитает вспоминать прошлое в его светлом виде, сквозь тогдашние редкие радости. Они стали на протяжении дальнейших лет значительными и вескими. Нашу веру в счастливую долю своего народа не могли нарушить ни тиф, ни голод, ни обледелая каморка, ни полная неуверенность в завтрашнем дне.

Молодость была непобедима. Она могла превратить Дантов ад в захватывающее зрелище. Опухая от голода, мы все же чувствовали слабый запах первого цветка за окном дворницкой и радовались этому.

Я воспринял и запомнил те грозные годы вместе со многими своими сверстниками как великую и неоспоримую надежду.

Эта надежда присутствовала всегда и во всем. Она проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелые тучи зимнего одесского неба. И какой-нибудь замерзший, посыпанный солью мороза стебель лебеды во дворе вдруг освещался неизвестно откуда теплым светом, и в этом освещении уже чувствовалось сияющее приближение весны.

Однажды на Австрийском пляже ко мне и Володе Головчинеру подсел маленький картавый человек с томными глазами. В руке у него была выгоревшая морская фуражка, потерявшая всякую форму.

В фуражке этот человек носил целую грудку абрикосов, которыми и стал нас угощать.

Когда мы сообща съели абрикосы, неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты «Русское слово» Евгением Ивановым.

– Вы, наверное, уже слышали про меня, про Женьку Иванова? – спросил он, улыбаясь и показывая мелкие острые зубы. – Я заработал славу авантюриста. Но все это чистая одесская брехня! К вам у меня два предложения. И не с кондачка, а на полном серьезе.

Он лихо надел на затылок морскую фуражку и похлопал меня по плечу.

– Первое, – сказал он, – состоит в том, что через две недели в Одессе начнет выходить морская газета «Моряк». Вы видите перед собой технического редактора этой газеты. Идите работать ко мне. Я знаю вас понаслышке. Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца и Буссенара. Мы будем печатать ее на специально заказанной бумаге из саргассовых водорослей. Мы зажмем вот в эту жменю, – он сжал в кулак маленькие пальцы, – все моря земного шара и выдавим из них, как сок из ананаса, столько великолепного материала, что через пятьдесят лет за каждый номер «Моряка» коллекционеры будут платить по сто рублей золотом.

Это было, конечно, неслыханное вранье. Я смотрел на него. Он так увлекся, что в уголках его губ начала пузыриться, как у детей, слюна.

– Я не шучу, – сказал он, засмеявшись. – Хотите быть секретарем редакции? Согласны?
– Согласен, – ответил я, не задумываясь.

Но Володя Головчинер отказался работать в «Моряке», сославшись на то, что он не журналист и к тому же заведует отделом в Опродкомгубе.

– Ну и сидите в вашем Опродкомгубе, – пренебрежительно сказал Иванов. – Там вы не сможете достать даже бутылку патоки, чтобы устроить торжественный чай с кукурузными сухарями по случаю открытия редакции. Ведь не сможете! Ну а второе предложение гораздо проще. Пока то да се, не раздеться ли нам с вами, не пойти ли вон на те скалы и не наколупать ли побольше мидий на ужин? Орудие производства у меня есть.

Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык.

Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень.

Мы с Ивановым разделись и пошли к соседним скалам.

– Мидии, – сказал Иванов, – мы будем складывать в мою фуражку.

Ловля мидий свелась к тому, что я, раздирая себе в кровь руки, отковыривал мидий от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку.

Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа:

– Женька! Куда полез? Выходи сейчас же!

– Маринушка, – закричал в ответ Иванов льстивым голосом, – да я же только...

– Долго я буду тебя ждать, босяк?! – снова закричала женщина, и я наконец увидел ее. – Вылазь, говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал.

– Моя жена, – сказал мне доверительно Иванов. – Марина. Приперлась-таки, стерва. Необыкновенная стерва! Но чуждая женщина. Придется идти.

Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огромной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала:

– Приходите сегодня до нас вечером. Я достала шматок свинины. Зажарим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкодливый, как кот. Его с глаз спускать нельзя. Даром что такой маленький и изящный, как балерина, а бабник первостатейный. Журналист он, правда, замечательный, у него к этому настоящий талант, но любит бросаться во всякие аферы и комбинации.

– Замолчи! – сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. – Лезешь не в свое дело, а хлястик на брюках оборван.

– Если он вас уже пригласил в «Моряк», – продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, – то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарпортовался. Характер у него кошмарный.

Так на Австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк» и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим рассказом.

Глицериновое мыло

За две недели, что остались до начала моей работы в «Моряке», случилось несколько событий. Самое печальное из них – смерть сестры Торелли.

Ее звали Рахилью. Она заболела новой в то время болезнью «испанкой». Это был жесточайший грипп с осложнениями.

Торелли перестал ходить в Опродкомгуб. Он сам ухаживал за сестрой, как санитар. Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Торелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся.

Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахили. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки.

Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший, запах.

Однажды Торелли надо было пойти в город, некого было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только держаться подальше, у самой двери.

Я к тому времени уже ушел из Опродкомгуба и потому весь день был свободен.

Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке у одесской музыкальной знаменитости – Наума Токаря.

«Знаменитость» прекрасно «ставила руку» своим ученикам и «делала им пальцы», но была человеком практическим и лишенным возвышенности.

«Как вы играете эту вещь! – кричал Токарь какому-нибудь ученику. – Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешен и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот так надо играть эту вещь! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая!»

При этом маэстро сердито отбивал такт ногой.

Рахиль редко упоминала о своей скрипичной игре. Сейчас она открыла воспаленные глаза и сказала мне:

– Не говорите ничего Абраму, но я знаю, что скоро умру. И он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша. Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделаются красными, как помидоры, и я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого молодого человека в рубашке «апах» и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже сто раз слышала от Абрама. А вы лучше скажите мне, где остров Майорка.

– Зачем это вам?

– Нам читали лекцию про Шопена и сказали, что он там жил. Но потом я ни разу и не вспомнила про этот остров, а сегодня почему-то увидела его во сне. Там с холмов стекают мелкие-мелкие речки с очень чистой и теплой водой и такие широкие, как отсюда до Карантина. Они текут по зеленой траве, но над травой выше воды стоят всякие цветы и все время качаются от течения. Я шла через эти реки босиком, и мне было так приятно, что под ногами мягкая трава.

Рахиль открыла глаза, повернула голову и посмотрела за окно. Над акациями неслись по небу белые ядра маленьких облаков. Было похоже, что невидимые корабли выбрасывали их из старинных бронзовых пушек.

– Здесь, в Одессе, – сказал я Рахили, – живет сейчас поэт Георгий Шенгели. Еще во время войны я слышал в Москве, как он читал свои стихи на одном вечере. Я запомнил из них всего три строчки: «Есть острова, далекие, как сон, и нежные, как тихий голос альта, –

Майорка, Минорка, Родос и Мальта...» Дальше я не помню. А Шопен действительно жил на Майорке с Жорж Санд. В заброшенном монастыре. Шопен тогда уже был смертельно болен, и потому его раздражало слишком яркое солнце этого испанского острова.

Я замолчал.

– А дальше? – спросила Рахиль и, не дожидаясь моего ответа, жалобно сказала: – Зачем я только родилась в этой семье, где рано или поздно у всех отнимаются ноги? Рыжая уродка! А разве такой я хотела быть? Мне бы качаться на палубе, чтобы ветер хватал меня за колени. Мне бы хохотать и петь. Вам не противно, что я так говорю? Я бы вам и сейчас спела, но грудь у меня стянута, как свивальником.

Она замолчала, перекатывая в руках кусок глицеринового мыла.

– Сделайте мне одолжение, – тихо попросила она, – пока нет Абрама. Налейте вон в то блюдечко воды, взмыльте ее этим мылом, а на комодке стоит сухой букет. Достаньте из него пустую соломинку и дайте все это мне.

Я сделал, как просила Рахиль. Она расщепила кончик соломинки, окунула соломинку в мыльную воду и медленно выдула большой мыльный пузырь.

Он оторвался от соломинки, чуть взлетел к потолку и остановился в воздухе, в немного пыльном солнечном луче, переливаясь бледным радужным блеском.

Рахиль прикрыла рот рукой, чтобы не потревожить своим дыханием легкий шар. Я тоже старался почти не дышать.

– Сейчас он золоченый, – сказала Рахиль. – А только что он был красный, как пожар.

Она осторожно пустила второй пузырь, третий, четвертый... Я тоже взял соломинку, начал выдувать пузыри, и вскоре вся комната замерцала от их мимолетных красок и блеска.

Часть пузырей опускалась на пол и лопалась, но большинство их играло с солнцем, летая по комнате и соединяясь иногда в разноцветные созвездия.

Внизу громыхнула на пружине парадная дверь. Дом слегка затрясся. Все пузыри сразу лопнули. На пол посыпалась мельчайшая водяная пыль.

– Спрячьте все! – быстро сказала Рахиль и закрыла глаза. – Я устала и хочу спать. Я ее никогда не увижу, никогда.

– Кого? – спросил я.

– Да эту Майорку. Идите. Спасибо вам. Мне что-то плохо.

В дверях я столкнулся с Торелли. Он узнал, что сестра засыпает, и на цыпочках вернулся в кухню, чтобы вскипятить воду.

А вечером он пришел к нам в дворницкую, сел на порог и неожиданно заплакал. И мы узнали, что Рахиль умерла внезапно, должно быть от разрыва сердца.

Торелли плакал, не вытирая слез, глядя на нас круглыми красными глазами, и сморкался в рваную наволочку.

Я нашел в книжном шкафу у Швитгау наполовину высохший пузырек с валерьянкой. Она почти не пахла. Я накапал ее в банку от консервов (она заменяла мне в то время стакан), сел на порог рядом с Торелли и дал ему выпить.

Он покорно выпил лекарство, потом упал головой на руки, и плечи его затряслись. Он со свистом втягивал воздух, прижимал к глазам наволочку и прерывающимся шепотом извинялся за беспокойство и за то, что закапал своими слезами мои пыльные рваные брюки из коричневого вельвета.

Врач, установивший смерть, сказал, что если бы не «испанка», то Рахиль могла бы выжить. Торелли рассказал, что она только сильно вскрикнула и сразу же перестала дышать.

Мы все: Яша, Володя Головчинер и я – пошли на похороны. В углу комнаты, где лежала Рахиль, стоял Гаварсаки и мял в руках замавленную кепку. Глаза его не выражали ничего, кроме горестной попытки понять, что происходит.

К выносу пришел Просвирняк. Он зло посмотрел на Рахиль, на ее стройные ноги в деревяшках и вполголоса сделал какое-то замечание синагогальной службе – распорядителю похорон. Служка подобострастно закивал в ответ и крикнул что-то несколькими безобразными старухам, шмыгавшим вокруг черного облезлого гроба. Очевидно, этот гроб, взятый «напрокат», уже сотни раз перевозил на расшатанных дрогах покойников из города на еврейское кладбище.

Старухи принесли откуда-то рваную коричневую шаль и завернули в нее ноги Рахили. Тогда расстрига с видом человека, исполнившего свой долг, торжественно вышел из комнаты.

– Наглец! – довольно явственно сказал ему вслед Яша. – Распоряжается, как у себя дома.

Но Просвирняк сделал вид, что не слышит Яшиных слов.

– Умоляю вас, – прошептал Торелли, – не трогайте его. Я опасюсь скандалов.

Я впервые был на еврейских похоронах. Меня поразила их судорожная спешка. Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей. Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал:

– А ну, герои, кто помоложе! Взяли! Подняли! Разом. Понесли! Осторожнее на поворотах. Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете! Разве это лестница! Это головоломка, накажи меня бог!

Потом мы долго шли по бульжным мостовым, и дроги перед нами подсакивали и неожиданно сильно дергались из стороны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока.

Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже выгорела, несмотря на раннее лето. Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теплую пыль.

Дроги зацепились колесом за ворота кладбища. Их надо было немного осадить, но кляча не хотела переступить назад, и возница начал бить ее по морде кнутовищем.

Торелли закричал на него. Возница сплюнул и сказал:

– Если вы такие нежные, так плакали бы лучше по сестре, чем по худой скотине.

Глаза у Торелли налились слезами. Он затопал узконосыми туфлями цвета апельсиновой корки и начал кричать на одной ноте пронзительным, доходившим до визга голосом:

– Мерзавец! Живодер! Молдаванский гицель!

Торелли был жалок в своем горе и гневе.

Возница только презрительно пожал плечами, поднял задок у дрог, освободил колесо, сел на козлы и поехал крупной рысью, нахлестывая лошадь и не оглядываясь, по длинной аллее кладбища к могиле. Вокруг не было ни одного дерева. Должно быть, их все порубили на дрова. Только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле.

Могилы были далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих.

Гроб опустили в могилу. В ней валялось почему-то много битого стекла.

Торелли роздал нищим подавание – по тысяче рублей каждому (в то время деньги уже поднялись в цене). Нищие брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. Старуха с гноющимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала:

– Что мне купить на ваши деньги? Дырку от бублика? Так покупайте ее сами, богачи!

Мы ушли подавленные. Торелли не мог успокоиться и всю дорогу до дома время от времени плакал. А синагогальный служка ковылял рядом и говорил:

– Я уже не узнаю людей, мосье Блюмкис. Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью.

Несколько дней после похорон Рахили я никуда не выходил, только по утрам вылезал через окно в сад. Просвирняк держал сад на запоре, и потому там никогда никого не было.

Изредка появлялся только сам Просвирняк, но, увидев меня, тотчас поворачивал и уходил, причем даже спина его выражала негодование.

После похорон Рахили мы с Володей Головчинером перестали считаться с Просвирняком. Да и никто с ним уже не считался, даже как с бывшим домовладельцем. Это для него казалось тягчайшим оскорблением. Примерно с тех пор он уже кипел жаждой мести, и его вначале скрытые мечты о перевороте и падении Советской власти приобрели характер мании, тяжелой душевной болезни. Чем меньше было надежд на перемену, тем расстрига все больше ссыхался, чернел, и в запавших его глазах появлялся диковатый блеск.

Встречаясь с нами, он не здоровался и что-то бормотал о «жидовствующих интеллигентах» и расплате за невинную кровь Христа.

Безумие его с каждым днем усиливалось. Даже его работница Неонила, безгласная женщина, боялась оставаться с ним одна в квартире и переселилась в маленький чулан при дворницкой. Каждый день она плакала и рассказывала нам, что Просвирняк грозит убить ее за то, что она «перекинулась к евреям и еретикам».

Она же рассказала нам, что вдовец Просвирняк расстригся после Февральской революции, чтобы второй раз жениться (это священникам было запрещено) на богатой греческой негциантке. Но гречанка перед самой свадьбой испугалась расстриги, раздумала и уехала со своими капиталами в Грецию.

Однажды ночью я проснулся от звука, будто рядом со мной кто-то тихо скребет железом о железо. Звук шел из кухни. Дверь из чулана, где спала работница, выходила в кухню.

Я неслышно встал и подошел к стеклянной двери в кухню. В саду перед низким окном сидел на корточках Просвирняк и пытался открыть стамеской оконную задвижку.

Он был так поглощен этим занятием, что не заметил меня. Он хитро ухмылялся и что-то бормотал.

Мне стало страшно, и я неожиданно и громко вскрикнул. Просвирняк вскочил и, не оглядываясь, в несколько прыжков выскочил из сада во двор, а оттуда бросился в свою квартиру. Старый подрысник развеялся за его спиной, как черные крылья.

Я разбудил Володю. Мы вышли в сад к окну, которое хотел открыть расстрига. На земле около окна лежала ржавая пятифунтовая гиря и немецкая бритва с костяной ручкой.

Володя пошел в милицию. Через два часа за Просвирняком приехала санитарная карета из психиатрической больницы. Два здоровых санитаря связали Просвирняку руки и увезли его. Просвирняк только тихо стонал.

Испуганная работница уехала к родственникам в Тирасполь. Она боялась, что расстрига убежит из сумасшедшего дома и тогда непременно ее убьет.

Вскоре от нас съехал Торелли. Ему неприятно было оставаться в комнате, где умерла Рахиль. Потом по неизвестной причине, должно быть из-за истории с эфиром, арестовали Гаварсаки. А как-то ночью бежал из Одессы вместе со своей семьей некий профессор церковного права, приятель Просвирняка, занимавший две квартиры. К лету дом совсем опустел. В нем поселился сотрудник «Моряка» боцман Миронов, рыжий молчаливый человек родом из Херсона. Миронов ломал на пари одной рукой железные прутья из садовых решеток. Он завел в доме, во дворе и в саду корабельный порядок.

До начала работы в «Моряке» оставалось всего несколько дней. Я прожил их беззаботно.

Я прочел в энциклопедическом словаре все, что было там напечатано об острове Майорка, Шопене и Жорж Санд, попытался вспомнить все, что я читал об этом раньше, и решил, что если что-либо и украшает наше прошлое, то это отдаленность во времени.

Жизнь Шопена и Жорж Санд на Майорке была неустроенной, трудной, недоброй. Жорж Санд в то время уже терял любовь к смертельно больному музыканту. Он был одинок. Его мучили ветреные ночи и дожди, боли в груди и кашель. Он понимал, что жизнь его сочтена по

неделям и он уже не успеет написать ту поразительную музыку, какую он считал единственно достойной своего таланта.

Он думал, что жизнь его насильственно оборвана болезнью. Этого могло бы и не быть. Он тщательно искал в своем прошлом тот день, когда произошла роковая ошибка. О, если бы человеку дано было понимать эти ошибки не задним числом, когда ничто уже не поможет!

Но это не дано никому. Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить.

В позеленевших от сырости стенах старого монастыря, где в каждой комнате-келье висело чугунное распятие, Шопен роптал на бога. Он боялся высказать свои мысли вслух, но его приводили в смятение рабы человеческие молитвы, взывавшие к богу о прощении грехов. Что значили эти ничтожные и жалкие человеческие грехи перед великим грехом кровопролития, обмана и ненависти, выпавшим на долю людей по милости божьей!

И его, этого бога, он воспевал в величественных звуках, в раскатах органа, в пряном дыхании роз, в нежных, как небесные струны, голосах причастниц.

Из монастырских коридоров тянуло плесенью, тленом. Черный лес шумел за решетчатыми окнами. И внезапно вся эта нарочно отысканная им и Жорж Санд романтика вдруг оборачивалась тоской по самой простой, даже бедной, по теплой – обязательно теплой – литовской комнате с невзрачным на вид роялем. Оборачивалась тоской по простой, деревянной, но удобной постели и жаждой покоя.

Он устал быть гением. Ему это было совсем ни к чему. Он носил это звание, или эту кличку, как обузу, приятную только для его близких и окружающих.

Но вот прошло какое-то время, и из его жизни с Жорж Санд на острове Майорка оно тщательно отобрало и выбросило все горькое и превратило эту жизнь в восхитительную поэму о самоотверженности любящих.

Поэма эта коснулась многих сердец, в том числе сердца рыжей еврейской девушки из Одессы, не видевшей в жизни ничего лучшего, чем воздушные пузыри из глицеринового мыла.

Я всюду возил с собой начатую еще в Таганроге повесть «Романтики». Писал я ее с большими перерывами и вообще считал чудом, что до сих пор не потерял рукопись.

Сейчас, в Одессе, я начал писать последнюю часть этой повести. Обычно, когда я втягивался в работу, я дичал: избегал людей, бродил сам по себе, вставал в два часа ночи и писал при коптилке, боясь, что Володя Головчинер проснется, и тогда мне не избежать ненужных расспросов.

И еще я заметил за собой одну странность, появившуюся во время работы: когда я писал о печальном, я искал горьких и резких впечатлений и таких же обстоятельств, как будто они могли помочь мне писать.

Поэтому однажды с раннего утра я ушел на еврейское кладбище, но вскоре сбежал оттуда, оглохнув от женских воплей, истерик и причитаний, испуганный видом желтых старушечьих пальцев, цеплявшихся за края гробов с такой силой, что их не могли оторвать даже несколько человек, потрясенный беззвучно кричащими и рвущими на себе волосы женами, пытавшимися броситься в открытые могилы мужей. Я вернулся в смятении от зрелища ничем не украшенного человеческого горя.

Я дописывал «Романтиков», когда однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвался выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем.

– Только не «ф», а «в», – сказал он. – Не Лифшиц, а Лившиц. Просят не смешивать с Яковом Лифшицем.

– Вы его не любите? – спросил я.

– Нет, почему же, – ответил Лившиц. (С первого же дня знакомства я начал звать его, как и все, Изей.) – Но он недолго проживет в наше время.

– Почему?

– В нем мало юмора.

Изя принес мне записку от Иванова с просьбой прийти завтра в редакцию «Моряка» – пора было готовиться к работе.

С Изей пришел высокий и неправдоподобно худой человек в обмотках, с профилем менестреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб. Он подал мне широкую дружелюбную руку и щелкнул по-военному каблуками. Потом он подошел к шкафу с профессорской энциклопедией, вынул первый том, перелистал его и выбрал все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены цветные рисунки и карты.

– Эдя! – предостерегающе сказал Изя, но человек с профилем менестреля даже не взглянул на него. Он вынул второй том энциклопедии и тоже вытащил из него всю папиросную бумагу.

– Вот теперь покурим! – сказал он с удовольствием.

– Эдя, это некрасиво, – заметил Изя.

Высокий человек молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску, как-то особенно ловко зажал ее между пальцами, поднес ко рту, и вдруг в дворницкой раздалась тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громоносно-звонкая трель какой-то безусловно трогательной птахи.

– А это, по-вашему, красиво или некрасиво? – спросил высокий человек.

Это было необыкновенно. Я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птахи пересыпался поющий бисер.

– Простите, – вдруг спохватился Изя, – я забыл познакомить вас. Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий.

– Вы, как всегда, напутали, Изя, – сказал нарочито хриплым басом Багрицкий. – Следует произносить: «Багратион-Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба». Пошли купаться на Ланжерон!

Рубка мебели

В этой главе придется немного отступить от последовательного описания событий, чтобы дать некоторое представление об удивительном редакторе газеты «Моряк» Евгении Иванове и той обстановке, которая сложилась в редакции.

Должен оговориться, что Союз моряков назначил ответственным редактором газеты капитана дальнего плавания партийца Походкина. Иванов был только техническим редактором, но своим напором, изобретательностью и размахом он так сокрушительно действовал на уже одряхлевшего капитана, что тот почти отстранился от редактуры и предпочел сидеть у себя на даче в Аркадии.

У Иванова, ходившего, как я уже упоминал, в мятой морской фуражке, заштопанной кавалерийской шипели и в деревяшках на босу ногу, был вид прожженного портового жлоба. Но вместе с тем никто так не очаровывал людей, как этот картавый мальчик с невинными глазами. На вид Иванову было лет двадцать, тогда как на самом деле ему было уже под сорок.

Он был превосходным рассказчиком. Юмор не покидал его во всех, даже отчаянных, случаях жизни. Кроме того, Иванов был очень учтив.

Он не боялся в те годы целовать женщинам руку. Говорили, что однажды его чуть не расстреляли за это в городе Рыбнице на Днестре. Город этот славился красавицами-молдаванками.

Иванов действительно работал репортером в «Русском слове» у Сытина. Бывший директор этой газеты Благов, богобоязненный и прижимистый старик, бежавший из Москвы в Одессу, подтверждал это обстоятельство из бурной жизни Иванова. При этом он добавлял, что Иванов обслуживал для «Русского слова» московские бега и крупно играл в тотализатор.

Иванов взял Благова к себе в «Моряк» старшим корректором. Благов оказался возмутительно придирчивым к орфографии. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников сделать пустяковую ошибку, чтобы заслужить его вечное презрение. Его боялся сам Иванов, не говоря о наборщиках. Когда в типографию входил Благов, на них жалко было смотреть. Они теряли самообладание, как гимназисты на выпускном экзамене.

Иванов принадлежал к тому типу журналистов, которые разыщут интересный материал даже в сточной канаве или на заседании общества по страхованию мелкого рогатого скота.

Он не только умел найти и украсить материал (в то время «материалом» называли в газетах всякую интересную новость), но даже предвидел его. Он знал, где его искать, и часто гадался по известным только ему приметам о том, что может вскоре произойти.

Точно так же он судил о возможных поступках людей по таким ничтожным признакам, что на них никто, кроме Иванова, не обращал внимания. Он знал, от каких мелочей зависят подчас людские побуждения и поступки. Он не боялся настойчиво рыться в этих мелочах, как в корзинке с мусором. И часто находил на дне этой корзины «алмаз или кинжал, заржавевший от крови», или, наконец, «бесстрашное человеческое сердце». Так любил выражаться наш метранпаж, старик Суходольский.

Экспансивный Суходольский кричал во весь голос Изе Лившицу и мне, секретарю редакции, верстая в типографии газету:

– Что могло бы получиться из нашего Женьки Иванова? Не знаете? Бальзак, чтоб вы так жили! Бальзак! Или Ломброзо!

Иванов подбирал для газеты сотрудников по своей системе. Их он оценивал по трем качествам. Прежде всего он брал молодых и при этом талантливых, потом опытных, так называемых «тертых», и, наконец, явных авантюристов и вралей.

Последняя категория людей привлекала Иванова, быть может, потому, что он сам являл хрестоматийный, но мирный тип прожектера, того самого, что хотел разбогатеть от одной курицы с яйцом.

Иванов всегда был в дыму проектов. Некоторые из них он осуществил у нас в «Моряке». Это сопровождалось то удачей, то более или менее крупным скандалом. Но большая часть проектов жила всегда несколько часов. Иванов с удивительной легкостью от них отрекался.

Первый осуществленный проект сгоряча показался нам интересным. Во всяком случае, он поражал новизной.

Иванов предложил перед заголовком, где у всех газет стояли слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», печатать другой лозунг, совершенно морской: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

На заголовке газеты был изображен Воронцовский маяк, бросавший четыре луча света. Слова о «пролетариях всех морей» были напечатаны на этих маячных лучах на четырех языках: английском, русском, французском и немецком.

Но этот номер «Моряка» с таким удивительным лозунгом был первым и последним. Иванова вызвали в губком. Он вернулся неестественно бледный и потому красивый и приказал, заикаясь, тотчас же разбить пышное клише с морским лозунгом и заказать новое, с тем же Воронцовским маяком, лучами света, но с правильным лозунгом.

Когда была снята блокада и в Одессу стали приходить иностранные пароходы, то на время их стоянки в порту «Моряк» печатал часть тиража для иностранных моряков на их родных языках.

Честь этого новшества, сделавшего «Моряка» популярным среди иностранных матросов, принадлежала Иванову.

После этого от переводчиков не было отбоя. Однажды в редакцию пришел даже переводчик с абиссинского языка – коричневый, приветливый и очень голодный человек. Но так как у Абиссинии не было своего флота и никак нельзя было ждать появления в Одесском порту пароходов под абиссинским флагом, то от услуг этого человека пришлось отказаться.

Абиссинец вышел из редакции со слезами на глазах. Но у Иванова было доброе и широкое сердце. Он вернул этого человека, расспросил его и узнал, что абиссинец – звали его Варфоломеем, – еще до революции присланный в Россию обучаться в Казанском университете, вынужден был потом работать парикмахером. Тогда Иванова осенила удачная мысль – назначить абиссинца штатным парикмахером при «Моряке», благо редакция буквально через неделю после выхода первого номера превратилась в шумный литературно-морской клуб. Через нее за день проходило множество народа, и потому у кроткого абиссинца быстро создавалась обширная клиентура.

Старшиной всех переводчиков в «Моряке» был знаток английского языка, бывший фрахтовщик и стивидор Одесского порта, изысканно вежливый, сияющий от благодушия круглый человек по фамилии Мозер. То был великий знаток хитроумного фрахтового дела, всяческих крючкотватых морских договоров и законов, знаток торговых флотов всего мира и морских традиций.

Он донашивал свои элегантные английские костюмы и среди нас, оборванных и отошавших, выглядел как настоящий лорд адмиралтейства.

Переводчицей на французский язык была жена Мозера – высокая и сухая, как англичанка, несколько чопорная и вполне светская дама, что в те годы производило на нас музейное впечатление.

Переводила она необыкновенно добросовестно. От каждой опечатки она заболела, но тоже по всем правилам хорошего тона. Она лежала, стелая, весь день в своей комнате на старой софе, нюхала последние остатки выдохшейся ароматической соли и прижимала к виску

кружевной платочек, смоченный под краном в коммунальной кухне. Там с утра до ночи властвовала некая тучная соседка «мадам» Зофер.

Эта почтенная матрона по несколько часов подряд оглушительно развивала свои взгляды. Каждую фразу «мадам» Зофер начинала одними и теми же любимыми словами: «Во время оно...»

– Во время оно, – говорила она, – я в рот бы не взяла эту мамалыгу, когда я имела каждый день пшеничный арнаутский хлеб.

Через минуту ее голос гремел снова, но тема речи отличалась от только что высказанной сентенции на «сто восемьдесят градусов».

– Во время оно, – говорила она, – мы таки рожали нормальных детей, а вы, моя дорогая, рожаєте бог знает кого – просто котят.

Мозер в первое время нашего знакомства стеснялась этих громовых и грубых речей «мадам» Зофер. Но освобождение от условностей происходит быстро, и вскоре Мозер совершенно спокойно говорила, нюхая соль:

– Опять она завела свою шарманку, эта хипесница!

А через месяц после работы в «Маяке» «мадам» Мозер уже свободно изъяснялась на одесско-морском жаргоне.

В «Моряке» мы печатали всё, что имело отношение к морю и морской профессии. Погоня за морским материалом всех времен и народов приобрела среди сотрудников характер бешеного соревнования.

Одно время чемпионкой оказалась Мозер. Она перевела прекрасные стихи полузабытого французского поэта-матроса Тристана Корбьера. Мы напечатали их целым циклом, предварив статью Жюля Лафарга и биографической справкой. В ней было указано, что Тристан Корбьер с юных лет работал матросом, всегда ходил в клетчатом плаще и сабо, успел напечатать в 1873 году в Париже единственную книгу своих стихов и вскоре умер совсем молодым.

В своей статье Лафарг писал с французским изяществом, что стихи Корбьера «полны дерзости, сухой крепости, каламбуров, живости, нервной отрывистости слога и глубоко жальщей и иронической тоски».

Но вскоре боцман Миронов, наш сосед по Черноморской улице, вырвал пальму первенства из слабых рук Мозер. Он достал на старом грузовом английском пароходе, носившем необъяснимо нежное имя – «Сердце Елены» (пароход был обшарпанный, с пятнами сурика на бортах и с неистребимым запахом птичьего помета – гуано), рукописную книгу, которая называлась «Библия моряка».

Она была написана на австралийско-английском морском жаргоне и являлась, по нашему общему мнению, фольклором, не имеющим равного в мире.

В руки к Миронову попало несколько глав этой книги. Их надо было быстро переписать, так как пароход «Сердце Елены» через два дня уходил в Эдинбург. Это случилось, конечно, уже после снятия блокады. Перепиской книги под руководством супругов Мозер и Миронова занималась вся редакция.

Начиналась «Библия моряка» главой «Большая молитва». Так звали на парусных кораблях плиту песчаника, которой скоблили палубу. Кроме того, были еще камни поменьше. Они назывались по молитвам: «Патер ностер» («Отче наш»), «Аве Мария» («Здравствуй, Мария»), «Матер долороза» («Скорбящая богоматерь») и «Мизерере» («Помилуй нас, господи!»).

Чистить палубу «Большой молитвой» матросов заставляли в виде наказания.

В «Библии моряка» была изображена тяжелая доля матросов на старых парусных кораблях, плававших главным образом между портами Европы и Австралии вокруг мыса Горн.

Отдельные разделы были посвящены несвежей пище, «собачьим вахтам», болезням, гнилому воздуху трюмов и способам борьбы с этим бедствием в тропических водах.

Была глава «О хитростях океана» – обо всем неприятном, что могло ждать моряка в Атлантике и Тихом океане, главным образом в проклятых грохочущих сороковых широтах. То были не общие, расплывчатые описания, а рассказы об отдельных случаях, памятных для целых поколений моряков: об ураганах, смерчах, «цунами» – исполинских волнах во время подводных землетрясений, грозах, кораблекрушениях. И конечно, о зловещих предвестниках опасности, в которых верили парусные (да и не одни парусные) моряки: огнях святого Эльма на верхушках мачт, кровавых радугах и «Летучем голландце». Говорили, что его снасти, несмотря на штормовые ветры, всегда были затянуты паутиной.

Рядом с этим были напечатаны «Предупреждения матросам» – имена капитанов, к которым нельзя было поступать на корабли из-за зверского их нрава (при этом точно перечислялись все преступления этих капитанов против матросов), списки «грязных собак», так называемых «шанхайеров» – вербовщиков (они работали главным образом в портах Латинской Америки и Китая). Они спаивали матросов и заставляли их в пьяном виде подписывать кабальные контракты с капитанами; список недобросовестных татуировщиков, адреса пивных в главных портах земного шара, где принимали в залог матросские вещи, адреса «бордингаузов» (дешевых гостиниц для моряков), где постояльцам не давали покоя «братья» и «сестры» из Армии спасения.

Знакомство с этой «Библией» несколько разрушало наивные и романтические представления о морском труде.

В самой жестокости этого материала чувствовался накопленный десятилетиями матросский гнев. «Библия моряка» принадлежала к так называемым взрывчатым книгам, хотя и не содержала в себе никаких лозунгов и призывов.

Боцман Миронов несколько затрудняет меня. Я хотел бы сейчас рассказать о нем – здесь это было бы кстати. Но, к сожалению, я уже напечатал рассказ об этом боцмане, а повторять себя по литературным законам нельзя.

Я попытаюсь написать о Миронове с такой же точностью, как и в рассказе, но несколько по-иному.

Самыми резкими отличительными чертами Миронова были глубокая молчаливость и дружелюбно насмешливый взгляд. Взгляд этот он применял только к тем людям, кого считал «стоящими чудаками».

Миронов много плавал на Тихом океане. С биографией его вряд ли справился бы даже такой писатель, как Стивенсон. Да, пожалуй, никто даже из самых настойчивых писателей ее бы не осилил потому, что выпытать у Миронова что-либо о нем самом было невозможно.

Я все же выудил у Миронова некоторые черты его биографии. Она была революционной в самом ясном значении этого слова. Прежде всего, Миронов никогда не давал спуска собакам-капитанам и их прислужникам – боцманам. Он верил во всемогущее братство трудящихся и считал, что для революционной работы морская профессия самая подходящая.

– Возможности большие! – говорил он. – Как пароходный дым швыряет по ветру, так и мы разносим по всему миру слово «интернационал». Это понимать надо.

Потом я бился два месяца, пока установил, что, во-первых, Миронов видел первый пароход, сделанный из стекла, что, во-вторых, он два месяца просидел в тюрьме в Нью-Орлеане за то, что вступился за негров и устроил драку с полицией («Полисменов мы выворотили наизнанку», – скромно говорил он по поводу этой драки), и что, в-третьих, он был на архипелаге Кергуелен, носившем у моряков название «Остров Отчаяния».

Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на него рукой.

Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер.

– Вы были на Новой Гвинее? – спрашивал я Миронова.

– А как же! – меланхолически отвечал Миронов. – Конечно был. Когда там плаваешь, – («там» – это значило в Меланезии), – так эту Гвинею никак не обойдешь. Она всюду торчит поперек дороги.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Места вроде подходящие, – сообщал Миронов с некоторым сомнением. – Только там до того жарко – чистая парильня! Вам бы определенно не понравилось.

– А в республике Перу вы были? – спрашивал я его в другой раз.

– Бывал, понятно.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Гроб! – отвечал Миронов. – Солнце шпарит, как в топке. Дышать абсолютно нечем. А вода в океане, между прочим, холоднющая, как лед. Хрен искупаешься!

Миронов долго ждал назначения на пароход и потому прижился в редакции «Моряка». Там он был своего рода справочным бюро по части знания множества пароходов и парусников.

В этом деле никто не мог соперничать с ним, даже сам Мозер. Поэтому Иванов взял Миронова в штатные сотрудники, но долго ломал голову над тем, как его наименовать, пока наконец Изя Лившиц не посоветовал наделить Миронова пышным званием «консультанта по мировому тоннажу».

По вечерам на Черноморской улице «консультант по мировому тоннажу» любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь вполголоса совершенно сухопутную украинскую песню:

Распрягайте, хлопцы, кони
Та лягайте спочивать!

Он пел, покуривал, благодумствовал, ничего не подозревая и не догадываясь, что уже близок день его славы.

Редакция «Моряка» получила из Москвы, кажется от народного комиссара по иностранным делам, запрос по поводу уведенного белыми торгового флота. Списки уведенных судов составить было легко, но комиссариат просил сообщить ему все сведения о дальнейшей судьбе этих судов: где они сейчас и под каким флагом плавают.

Вызвали Мозера. Он развел руками. Кто мог знать, что сейчас происходит с этими пароходами? Пожалуй, из случайно попадавших в Одессу иностранных газет можно было выяснить судьбу двух-трех пароходов, не больше. Да и то вряд ли.

Мозер предложил созвать в редакции бывших пароходных агентов, капитанов и вообще многоопытных морских людей и выяснить, что удастся, путем перекрестных расспросов.

Так и сделали. Табачный дым из комнаты, где шло это «заседание», вытягивался через окно на бульвар, как из трубы парохода. Многоопытные морские люди сидели в расстегнутых кителях и мокрых тельняшках, вытирали пот, лысины их сверкали, как надраенная медь, голоса охрипли, но пока что была выяснена, и то лишь приблизительно, судьба только одного парохода.

В это время в редакции появился Миронов. Цепляясь за стулья и густо краснея, он подошел к Иванову и сказал ему таким шепотом, что было слышно в соседних комнатах:

– Вы это бросьте, Евгений Николаевич! Так у вас ни фи́га не получится. Пусть кто-нибудь записывает, а я буду рассказывать. При первой возможности можете проверить. Жизнью своей отвечу за каждую ошибку.

Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате.

Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола, крепко смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал:

– Пишите! Пароход «Великий князь Алексей Николаевич». Принадлежал РОПИТу. Продан фирме «Мессажери Маритим» во Францию. Переименован в «Тулузу». Приписан к порту Марсель. Регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены. Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская, хлипкая, но старший помощник прежний, Григорий Павлович Мостовенко.

Среди морских людей возникло движение. Потом пронесся глубокий вздох.

– Пишите дальше, – невозмутимо сказал Миронов. – Пароход «Кострома». Океанский. Добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи в Массову и Сомали с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас «Базиликата». Котлы никак не чищены. Поэтому полный тихоход. Держат его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда – все до одного негры.

Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем, осторожно запевали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна маттиолой.

Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой волной.

Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью.

Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку и неохотно расходились по домам: хотелось еще поговорить «за родное море и за наши пароходы», знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и царапины на дубовом планшире.

Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть, даже и до Греции. Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта.

Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность.

Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володей Головчинером, «не дурить самому себе голову».

Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока я расскажу только одну такую историю.

Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фанатической любовью к газете. Для него выше «Моряка» не было ничего на свете.

Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину (она только по привычке сильно кричала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания) и двух своих девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты и какие не перенесла бы безропотно его семья.

Зима 1921 года выдалась в Одессе нордовая, штормовая. Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что ноздреватый камень «дикарь», из которого был построен почти весь город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы. Дома и мостовые покрылись пленкой льда и блестели, как эмалированные. Ветер гудел в улицах, обращенных к северу, и нагонял тоску. Только в поперечных переулках он сбавлял свой напор, и там можно было еще отдышаться.

Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах. Море замерзло до Большешэфонтанского маяка. Льды затерли у входа в порт болгарский пароход «Варна».

Среди книг профессора Швиттау я нашел нетронутый отрывной календарь на 1916 год и повесил его на стенке: все-таки он давал представление о движении времени.

А движение это казалось все более медленным. Время как бы оцепенело от стужи. Между этой стужей и первыми теплыми днями лежал толстый слой пожелтевших и пыльных листков календаря.

В «Моряке» было холоднее, чем дома. Редакция помещалась в большом особняке рядом с Воронцовским дворцом. Стены особняка, расписанные бледными фресками, и разноцветные стекла в окнах, особенно синие, усиливали нашу морозную дрожь.

Все сбились в одну комнату, где стояла железная «буржуйка» с выведенной за окно закоптелой трубой. Из трубы изредка капал на головы и рукописи жидкий зловонный деготь.

Около «буржуйки» сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон. О ней все говорили, что она «красивая, как итальянка», и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате. Но вскоре и Люсьена тоже нахохлилась и скисла.

Заведующий хозяйством, крикливый румын Кынти, ходивший в толстой черной шипели, как в чугунной броне, не достал ни охапки дров. В свое оправдание он распахивал шинель, бил себя по карманам старого френча и кричал, что от Одессы до самой Винницы нет ни одного полена дров, – пусть его повесят рядом с памятником Дюку, если это не так.

– Перестаньте пылить своим френчем! – небрежно сказала ему Люсьена. – И вообще прекратите вашу шмекерию!

Никто из нас, даже сама Люсьена, не знал значения румынского слова «шмекерия». Кынти пришел от этого слова в исступление. Даже стоять около него представлялось опасным: он весь трещал, хрипел, вертелся, плевался, грозился и каждую минуту, казалось, мог взорваться с оглушительным громом и свистом.

Только через несколько дней мы узнали значение слова «шмекерия». Оно было совершенно невинным. В переводе на русский язык оно означало «жульничество».

Наконец пришел день, когда жизнь редакции вот-вот должна была оборваться и умереть: нельзя уже было держать в пальцах ручку.

Тогда Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова.

Когда я вошел в редакцию, то услышал еще из обледенелого вестибюля веселый стук топоров, треск дерева, крики, смех и гудение огня в раскаленной «буржуйке».

Вдохновенный, бледный от гнева, Иванов командовал стремительной рубкой мебели. Он был разъярен тем, что непосредственный хозяин газеты – Одесский районный комитет водников – не позаботился о топливе для редакции. Иванов шел напропалую и играл ва-банк.

В самый разгар рубки в редакцию вбежал взъерошенный Кынти, воздел руки к небу и закричал, что сейчас созвано внеочередное, чрезвычайное, экстренное, срочное и пленарное заседание райкомвода, которое обсуждает вопрос о рубке мебели на топливо в редакции «Моряка».

Рубка пошла быстрее. Заседание продолжалось два часа и окончилось, когда весь буфет и вдобавок разошедшийся посудный шкаф были порублены на мелкие дрова. Они лежали у стены в кабинете редактора, а «буржуйка» исступленно гудела, как эскадрилья самолетов.

Райкомвод вынес Иванову строгий выговор с требованием, чтобы этот выговор был обязательно опубликован в очередном номере «Моряка».

У нас в «Моряке» работал под псевдонимом «Боцман Яков» одесский сатирический поэт-фельетонист Ядов.

Иванов заказал Ядову фельетон о рубке мебели, поместил его в очередном номере, а постановление райкомвода напечатал петитом в виде эпиграфа к этому фельетону.

Я запомнил только один куплет из этого фельетона:

Печать в стране – могучий фактор,
Блюсти ее – мой долг прямой.
Не допущу я, как редактор,
Чтоб замерзал сотрудник мой.

После рубки мебели, или, как говорили по Одессе, «лихой рубки лозы в редакции „Моряка“», одесские морские власти начали относиться к Иванову с опаской и почти не вмешивались в дела газеты.

Полотняные удостоверения

До революции «Моряк» был маленькой нелегальной газетой. Печаталась она в Александрии, в Египте. Оттуда ее рассылали с верными людьми, главным образом с пароходными кочегарами, по разным русским портам.

Выходил «Моряк» редко и больше напоминал листовку, чем газету. Один из работников «Моряка» еще старого, александрийского периода, седоусый старец, слегка повредившийся на конспирации, уговорил Иванова выдать постоянным сотрудникам «Моряка» удостоверения, напечатанные на тонком полотне. Их можно было в случае надобности зашить под подкладку пиджака или пальто.

Мы, сотрудники «Моряка», не видели в этом смысла. Мы знали, что никто из нас не будет послан за границу ни с какими заданиями. Кроме того, мы не допускали мысли, что нам когда-нибудь придется уходить с этими полотняными удостоверениями в подполье.

Посмеиваясь, мы получили эти необыкновенные удостоверения, длинные, как детская игрушка «тешин язык», с печатью. На ней перекрещивались большие адмиралтейские якоря.

Пользоваться этими удостоверениями в обычных условиях было нельзя. Во-первых, нелегко было развернуть и прочесть мягкие тряпочки, а во-вторых, они вызывали полное недоверие у всех, кому бы мы их ни показывали.

В конце концов мы спрятали их на память, а для работы нам выдали обыкновенные удостоверения, отстуканные на машинке Люсьеной.

Вообще, с «Моряком» были связаны и некоторые другие странности. Начать хотя бы с того, что газета печаталась не на обыкновенной бумаге, а на обороте разноцветных чайных бандеролей. Бумаги в Одессе не было. Во всяком случае, скудных ее запасов хватало только на главную газету – «Одесские известия». Выход «Моряка» был разрешен, но печатать газету оказалось не на чем. К счастью, Иванов узнал, что на одесской таможне лежат большие запасы никому сейчас не нужных чайных бандеролей.

Эти бандероли были отпечатаны на листах тонкой, просвечивающей бумаги размером в развернутую газету. Одна сторона этих глянцевиных листов была совершенно чистая. От краски бандерольная бумага не промокала.

Бандероли были разных цветов, в зависимости от сорта чая. Цвета почему-то выбирались бледные: сиреневые, желтоватые, серые и розовые.

В дореволюционное время бандерольные листы разрезались на узкие полоски. Их и наклеивали на пачки с чаем. На каждой такой полоске был обозначен сорт чая, его вес и отпечатан русский государственный герб – маленький двуглавый орел.

Вот из-за этих-то орлов нам долго не соглашались выдать бандероли. Иванов терял голос, доказывая, что печатание газеты на бандеролях ни в какой мере не является монархической пропагандой.

Мы старались выпускать газету разного цвета, в соответствии с разными днями недели. Например, по вторникам всегда сиреневую, а по средам – всегда розовую и так далее. Это довольно хорошо нам удавалось.

В исключительных случаях, для так называемых праздничных номеров, нам выдавали белую бумагу. Белой ее можно было назвать только в полном мраке. То была серая, рыхлая, очень толстая бумага, похожая на оберточную, прослоенная широкими и тонкими древесными стружками (даже со следами годичных слоев).

Краска на такую стружку почти не ложилась, и потому праздничные номера выглядели рябыми. Буквы на этой бумаге не отпечатывались, а выдавливались, как в книгах для слепых.

Но нас не пугала ни серая бумага, ни плохая краска. Из-за этого мы любили свою газету больше, чем если бы она была прилизанной и нарядной.

Мы вкладывали в работу много пыла, труда и выдумки. Поэтому лучшим вознаграждением для нас, сотрудников «Моряка», была его популярность. Газета расходилась мгновенно. Номера «Моряка» буквально рвали из рук.

Кроме полотняных удостоверений и бандерольной бумаги, у «Моряка» была еще третья особенность – множество преданных газете сотрудников, не получавших ни копейки гонорара. Они охотно довольствовались ничтожными выдачами натурой.

Выдавали все, что мог достать Кынти: твердую, как булыжник, синьку, кривые перламутровые пуговицы, заплесневелый кубанский табак, ржавую каменную соль (она тут же, в редакции, таяла, выпуская красный едкий тузлук) и обмотки из вельвета.

Эти блага распределяла между нами бурная Люсьена. В ответ на жалобы она только насмешливо пела, подражая каскадной певице и отбивая лихой такт деревяшками:

Терпи немного,
Держи на борту!
Ясна дорога
И близок порт!

Все, конечно, терпели и не роптали, даже на вельветовые обмотки.

Иванов выдал шестьдесят полотняных удостоверений постоянным сотрудникам газеты.

Кроме постоянных сотрудников, у «Моряка» было множество рабочих корреспондентов и друзей газеты – тех людей, что в наше время зовутся «болельщиками».

Рабочих корреспондентов сначала было больше всего в Одессе и в ближайших портах – Очакове, Николаеве, Херсоне, Овидиополе, Збурьевке и Станиславе. Но по мере освобождения от белых Черноморского побережья число рабочих корреспондентов росло. Вскоре они появились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Бердянске, потом в Новороссийске и по Кавказскому побережью, наконец, в Крыму.

Одесские рабочие корреспонденты – от капитанов дальнего плавания до кочегаров и гальюнщиков – собирались в редакции как в своем клубе. Весь день бурлил кипятильник, весь день Люсьена заваривала морковный чай, и гул голосов, густой кашель курильщиков и зычный смех раскачивали волнами дымно-табачный воздух.

Что касается постоянных сотрудников, то они представляли шумное, пестрое, насмешливое и живописное общество.

Иногда в этот редакционный «клуб» заходили старики (так мы называли всех, кому было больше сорока лет). Заходил знаменитый подпольщик во времена французской оккупации Одессы, старый большевик Ачканов, друг «Моряка» и его придирчивый покровитель; заходил седой и утомительно вежливый писатель Семен Юшкевич; но главным образом в «клубе» собирались моряки и журналисты – народ нетерпеливый и горячий.

«Научитесь работать и ждать, – говорил нам изредка Ачканов, прислушиваясь к нашим разговорам. – Социализм не упадет вам прямо в карман, как финик с пальмы».

Мы прекрасно понимали, что для революционных преобразований нужно время, но все равно нам хотелось, пропуская трудные и напряженные годы, говорить о конечном результате революции, о победе и счастье.

Иногда мы засиживались в «клубе» до утра, и золотое свечение неба на востоке невольно казалось нам, поэтически настроенным юношам, отблеском приближающихся прекрасных времен, как бы отблеском недалекого золотого века.

Золотое свечение неба сливалось с золотым блеском утреннего моря. Даже степи по ту сторону Одесского залива, за Дофиновкой, светились от солнца и, казалось, готовились к празднику.

О чем только не говорили в «клубе»! О восстании «Потемкина» на Тендре, о расстреле революционного крейсера «Очаков» в Севастополе, об «Острове казненных» – Березани, о свойствах херсонских шхун – «дубков», о знаменитых бахчах за Санжейкой, о лучшем способе протирания маячных стекол, о ходе кефали, о греко-турецкой войне, о дошедшей до Одессы книге Барбюса «Огонь», о ремонте плавучего дока, о том, как делать брнзу и как стрелять из трофейных австрийских винтовок системы Манлихера.

Эти разговоры за морковным чаем были своего рода революционной, литературной, морской и бытовой энциклопедией. Но она была богаче любого, самого лучшего энциклопедического словаря, потому что мы слышали живой, образный, просмоленный и точный язык со множеством его великолепных интонаций.

То были россыпи языка, и потому, очевидно, молодые одесские писатели, ставшие со временем знаменитыми, почти все время проводили в этом революционном «клубе». Особенно часто там бывал Эдуард Багрицкий.

Невозможно рассказать здесь обо всех сотрудниках, хотя они этого и заслуживают. Придется остановиться только на некоторых, почти наугад, без выбора.

В «Моряке» было два фельетониста: бойкий одесский поэт Ядов («Боцман Яков») и прозаик Василий Регинин.

Ядов, присев на самый кончик стула в редакции, торопливо и без помарок писал свои смешные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одесса, а через месяц-два они иной раз доходили даже и до Москвы.

Ядов был по натуре человеком уступчивым и уязвимым. Жить ему было бы трудно, если бы не любовь к нему из-за его песенок всей портовой и окраинной Одессы. За эту популярность Ядова ценили редакторы газет, директора разных кабаре и эстрадные певцы. Ядов охотно писал для них песенки буквально за гроши.

Внешне он тоже почти не отличался от портовых людей. Он всегда носил линялую синюю робу, ходил без кепки, с махоркой, насыпанной прямо в карманы широченных брюк. Только очень подвижным и грустно-веселым лицом он напоминал пожилого комического актера.

Ядов в Одессе был не один.

Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский.

Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»:

Ужасно шумно в доме Шнеерсона...

Она обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона (под гром чванливого марша) всех домовых властей:

Сам преддомком Абраша Дер Молочник
Вошел со свитою, ну прямо словно царь!
За ним Вайншток – его помощник
И Хаим Качкес – секретарь.

Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как и продолжение ее – «Недолго длилось счастье Шнеерсона», – мог написать только природный одессит и знаток окраинного фольклора.

Почти все местные песенки были написаны безвестными одесситами. Даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» – Жора со Степовой улицы или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».

Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город.

Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий.

Так, например, песенку «„Ростислав“ и „Алмаз“ за республику, наш девиз боевой – резать публику!» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ль я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину!» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно.

Я помню, как вся Одесса пела «Мичмана Джонса», потом «Эх, хмурые будни, осенние будни», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню», «Вот Маня входит в залу».

После этого пошли уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской:

Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что город Харьков переполнен из ворами!
Что наступил критический момент, —
И заедает вредный элемент.

Эту песенку можно было петь без конца, потому что имена городов менялись в ней по желанию исполнителей – Харьков, Киев, Ялта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка.

Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он заметно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох.

Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные одесситы, любители этих песенок, те, кого еще недавно называли «жлобами», спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов.

Сражались и старые рыбаки, и морские люди, которым не хватало места на кораблях. Сражались отчаянно потому, что за их спиной была Одесса, город, где труд никогда не чурался веселья, город неутомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны.

И естественно, что после войны родились новые песни о героизме одесских людей и их неизменной любви к своему городу.

Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуме.

Однажды я неожиданно встретил на батумском приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу, и что-то чертил тростью на песке.

Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу и вместе пошли пообедать в ресторан «Мирамаре».

Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином «Изабелла». На эстраде оркестр (тогда еще не существовало джазов и мало кто слышал даже про саксофон) играл попури из разных опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова:

Купите бублики
Для всей республики!
Гоните рублики
Вы поскорей!

Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки – одесский поэт Ядов.

Оркестранты встали, подошли к нашему столику. Дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загремел под дымными сводами ресторана.

Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и начали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином. Они пили за его здоровье и произносили замысловатые тосты.

Ядов был растроган, благодарил всех, но шепнул мне, что хочет поскорее уйти из ресторана.

Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шел он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой.

Ядов показал мне тростью на гряде облаков и неожиданно сказал:

И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.

Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.

– Это Фет, – сказал он. – Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского. Если говорить всерьез, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хохмач. Никто меня не учил, что во всех случаях надо бешено сопротивляться жизни. Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней спину. А теперь поздно. Теперь лирика течет мимо меня, как река в половодье, и я могу только любить ее и завистливо любоваться ею издали. Но написать настоящему не могу ничего. Легкие мотивчики играют в голове на ксилофоне.

– Но для себя, – сказал я, – вы же пишете лирические стихи?

– Что за вопрос! Конечно нет. У меня, слава богу, еще хватает ума и вкуса, чтобы понять, что в этом отношении я конченный человек. Вот, говорят, люди сознают свою талантливость и гениальность. А я сознаю беспомощность. Это, пожалуй, тяжелее. Вы не помните, кто из замечательных немецких поэтов в одно прекрасное утро сел к столу и вдруг написал паршивенькие стихи? Мозг иссяк. Оказывается, этот поэт небрежно и просто преступно обращался со своим мозгом. После этого страшного утра он уже не написал ничего годного, даже для бульварной печати. Он переменял профессию и начал варить ядовитую жидкость от клопов. Хоть маленькая польза. Для человечества.

– Грех вам так говорить, Яков Семенович, – сказал я. Я был искренне огорчен его словами.

– Милый мой, это все давно уже обдумано и передумано. Я не отчаиваюсь. Я раздарил свой талант жадным и нахальным торгашам-антрепренерам и издателям газет. Мне бы дожить без потерь до сегодняшнего дня – я, может быть, написал бы вторую «Марсельезу». А вам спасибо хоть на добром слове.

Мы распрощались. Первые тяжелые капли начали падать из непроглядной темноты. Я быстро пошел к себе, прислушиваясь к ровному шуму подходившего с моря дождя.

Больше я не встречал Ядова, но запомнил его лицо печального клоуна с глубокими складками около губ и тоскливыми глазами.

Василия Александровича Регинина, или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.

Я увидел его впервые в Одессе, в редакции «Моряка». До этого я много слышал о нем от Яши Лифшица, Благова, Евгения Иванова и других старых журналистов.

Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, какая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стэнли, отыскавший в джунглях Африки Ливингстона из чисто спортивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.

До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные «желтые» журналы вроде «Синего журнала» или такие журналы на всеобщую потребу, как «Аргус» или «Хочу все знать». Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.

Серьезный, «вдумчивый» читатель привык к скучноватому, но строго «идейному» «Русскому богатству», к солидному «Вестнику Европы», к «Ниве» с ее прекрасными приложениями, к «Журналу для всех», наконец, к передовой «Летописи». Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.

Число «желтых» журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в «Синем журнале» на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.

Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в «Синем журнале» из номера в номер.

Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногшибательное рекламное занятие.

Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинизелли редактор «Синего журнала» Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожным и благополучно выйдет из клетки.

Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в «Синем журнале» в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за «Синим журналом».

В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинизелли был набит людьми до самого купола. Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.

Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.

Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.

Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брандспойтами, бледные служители.

Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.

В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали их трясти и выламывать.

Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брандспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы.

Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.

Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии – себя с тиграми. «Тогда, – сказал он, морщась, – я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж „Синего журнала“ до гомерических размеров».

Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.

После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал «Тридцать дней», один из интереснейших журналов.

Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.

В «Тридцати днях» он первый напечатал «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли «воздержаться» от печатания этой удивительной, но пугающей повести.

В «Тридцати днях» Регинин собрал лучших писателей и поэтов и всю талантливую тогдашнюю литературную молодежь (сейчас это уже всё маститые писатели и даже «классики»).

С легкой гордостью Регинин говорил, что сотрудниками «Тридцати дней» были все без исключения писатели и поэты тридцатых годов. В этих словах не было преувеличения. Подобно тому как все дороги ведут в Рим, дороги всех писателей проходили через «Тридцать дней», особенно писателей молодых, начинающих. Недаром до сих пор писатели шутливо говорят:

Старик Регинин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...

Самая манера работы (или, как принято говорить, «стиль работы») Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.

Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом: «Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей», – выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.

Регинин прожил большую и разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.

Несколько лет назад Регинин умер. Он умирал тяжело, но мужественно. В мужественности его последних дней на земле был итог его жизни, очень беспокойной, кипучей, отданной журналистике и искусству, жизни человека, который больше всего на свете любил сенсацию, литературу, театр, цирк и дружбу с талантливыми людьми.

Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в «Моряке»: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами.

Похищенная речь

В половине апреля, к вечеру, когда за окном редакции зеленел воздух и мерно мигал красным огнем Воронцовский маяк, ко мне в комнату осторожно вошел Изя Лившиц. Он тихо прикрыл за собой резную дверь (на ней были выточены из дерева тяжелые кисти винограда и гирлянды роз), на цыпочках подошел к столу и сделал классический жест, призывающий к молчанию, – прижал указательный палец к губам.

Изя тяжело дышал и был чрезвычайно взволнован.

В редакции уже никого не осталось, все разошлись, кроме абиссинца Варфоломея. Поэтому поведение Изя показалось мне неестественным.

– Ну выкладывайте! – громко сказал я ему. – Что случилось?

Изя сделал страшные глаза, стиснул меня за плечо и едва слышно, одним только дыханием, прошептал:

– Молчите. И слушайте! – Он рассказал мне, изредка откидываясь и глядя на меня победоносно и испытующе, что только что заходил в типографию Одесского губкома и увидел там...

Изя задохся от волнения. Он замолчал, неловко скрутил папиросу, закурил, затянулся и только после этого рассказал о том, что он увидел в типографии губкома.

А увидел он набор недавно произнесенной Лениным в Москве речи о новой экономической политике. Речь была набрана в виде брошюры, но еще не отпечатана. На первой странице перед текстом стояла надпись о том, что речь не подлежит оглашению и печатается на правах рукописи, то есть для небольшого числа посвященных.

Неясный слух об этой речи уже третий день бродил по Одессе. Но никто ничего толком не знал. Мы у себя в редакции знали только одно: что речь была произнесена и, конечно, напечатана во всех газетах Российской Федерации. Но в Одессе ее почему-то скрывали от населения.

Мы были уверены, что в этом виноваты работники Одесского губкома. Очевидно, они не были согласны с основными положениями ленинской речи. Впоследствии так оно и оказалось.

С другой стороны, нам, беспартийным, – Иванову, Изе и мне, – в те времена трудно было разобраться в этом. Мы ничего толком не знали. Мы были только глубоко возмущены тем, что от народа прячут ленинские слова. Это мы считали величайшим преступлением. Речь надо было достать и напечатать во что бы то ни стало.

Мы пытались добыть эту речь, но из этого ничего не вышло. В губкоме нам с усмешкой ответили, что мы напрасно интересуемся делами, которые нас не касаются.

И вот Изя Лившиц случайно увидел эту речь. Набор лежал в стеклянной кабине директора типографии. Директор куда-то на минуту отлучился. Прочсть речь Изя не смог: в типографии не было видно ни одного оттиска, да и задерживаться было нельзя. Изя забежал туда договориться с директором насчет клише для «Моряка». Он, конечно, не показал виду, что заметил набор ленинской речи, и тут же ушел.

– Мы должны или напечатать эту речь, – сказал Изя, – или признать себя последними трусами и слякотью. Ни трусом, ни слякотью я быть не хочу. И вы тоже. Поэтому слушайте: есть гениальный план! Наш метранпаж Суходольский три дня в неделю работает у нас, а остальные три дня – в типографии губкома. Там он свой человек. Надо его уломать, чтобы он ночью выдал нам готовый набор ленинской речи часа на два, на три. За это время мы успеем привезти набор в нашу типографию, отпечатать на вкладке к «Моряку», смыть краску и увезти обратно. Пошли к Иванову. Он один может уговорить Суходольского.

Мы тотчас пошли советоваться к Иванову. Он жил далеко, около Французского бульвара. Услышав о речи Ленина, Иванов побледнел и начал заикаться. Это было у него признаком страшного волнения.

С Ивановым мы пошли на квартиру к Суходольскому, в старый дом из выветренного песчаника. Мы с Изей ждали в подворотне. Мне казалось, что секундная стрелка на моих часах была намазана клеем. Она едва тащилась по циферблату, и каждая секунда давалась ей с величайшим трудом.

Время тянулось, и дело казалось проигранным. Разве такой ожиревший боров, как Суходольский, согласится на риск! Да никогда! Изя от досады несколько раз бил изо всей силы ногой по стене, стараясь сорвать на ней свое нетерпение.

Наконец Иванов вышел вместе с Суходольским. Глаза у Суходольского блестели, и он сказал нам таинственным шепотом: «Ай босяки! Ай умницы!» Такими словами Суходольский всегда выражал свое восхищение.

Оказалось, что сторожем при типографии губкома работает тесть Суходольского, «бриллиантовый старик».

Суходольский охотно взял на себя всю операцию похищения набора.

Все было сделано быстро и бесшумно. Мы вместе с Суходольским и сторожем незаметно вынесли тяжелый свинцовый набор речи, уложили на извозчика и поехали к нашей типографии. Там Иванов уже все подготовил: достал из склада бумагу и задержал на ночь надежных печатников. (Очередной номер «Моряка» уже допечатывался, и все наборщики давно разошлись.)

На общем совете мы решили напечатать речь отдельной вкладкой. Но брошюрный текст был шире нашего, газетного, и потому на вкладке помещалось не шесть колонок, как на странице «Моряка», а четыре, и сбоку еще оставалось большое пустое поле.

Но думать было некогда. Набор заложили в машину. Суходольский набрал заголовок. Машина тихо загремела и зашуршала листами бандеролей, печатая историческую речь.

Мы жадно читали ее при свете кухонной керосиновой лампочки, волнуясь и понимая, что история стоит рядом с нами в темной этой типографии и мы тоже в какой-то мере участвуем в ней.

Вкладку отпечатали, с набора тщательно смыли краску, отнесли набор на извозчика, и мы с Изей отвезли его обратно в типографию губкома и положили точно на то же самое место, где он лежал.

Никто нас не видел, кроме молчаливого сторожа. Мы не оставили никаких следов.

Домой идти не хотелось: через час должен был начаться рассвет. Мы были взволнованы и потому пошли в редакцию.

Варфоломей открыл нам дверь, обрадовался и поставил на печурку чайник.

Мы пили чай, сидя на кипах бандерольной бумаги. Богиня Аврора едва проступала во тьме своим розовым пыльным хитоном.

Все мы были втайне горды тем, что завтра ленинская речь станет известна всей Одессе. Никто из нас не думал о последствиях дерзкого нашего поступка, хотя мы и понимали, что последствия могут быть для нас очень тяжелыми. Только метранпаж Суходольский качал головой и время от времени говорил, что на всякий случай хорошо бы незаметно смыться из Одессы.

А наутро 16 апреля 1921 года старые одесские продавцы газет – скептики, мизантропы и склеротики – пошли торопливо шаркать деревяшками по улицам и кричать хрипучими головами:

– Газета «Морак»! Речь товарища Ленина! Читайте все! Только в «Мораке», больше нигде не прочтете! Газета «Морак»!

Как мы ни бились, но за все время существования «Моряка» не могли научить газетчиков кричать правильно. Они считали это требование нашим капризом, просто самодурством редактора и говорили: «Какая вам разница! Мы же продаем вашу газету, как никакую другую».

Номер «Моряка» с речью разошелся в несколько минут.

Одесса загудела, как потревоженное гнездо.

Мы ждали неприятностей и были готовы к ним. Но никаких осложнений не случилось, если не считать моей встречи на Греческой улице с секретарем губкома.

Красный от гнева, он мчался навстречу, потрясая номером «Моряка». Поравнявшись со мной, он остановился и крикнул:

– Украл! Наш набор! Бульварные штучки! Вы ответите! До чего вы дошли!

Я сделал невинное лицо. Ничего мы не крали. Это поклеп! Где доказательства?

Секретарь задохся от возмущения.

– Вам нужны доказательства? – Он выхватил из номера «Моряка» вкладку с речью. – Вот! Все опечатки наши! И колонка брошюрная, широкая, – тоже наша! Вот вам доказательства!

Он судорожно засунул номер «Моряка» в рваный портфель и исчез среди отцветающих акаций.

Не знаю, время ли приучило нас ко всяким неожиданностям, или наша молодость еще не перебродила и не выветрила из нас остатки мальчишества, – но мы были горды своим поступком.

Это ощущение подымало нас в собственных глазах, хотя мы и не говорили об этом.

Мы считали себя уже не простыми газетчиками. Чувство гражданственности, близости своей жизни к жизни страны наполняло нас молчаливой радостью.

Мнимая смерть художника Костанди

Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой:

– Только, ради бога, не говорите об этом одесским репортерам.

Я еще застал нескольких одесских репортеров из числа тех, что нагоняли страх на Чехова. Эти репортеры были, конечно, последними «королями сенсации». Их рассадником и надежным убежищем была одесская газета «Одесская почта», а вождем – издатель этой газеты, некий Финкель.

Главным содержанием этой газеты было подробнейшее описание всех пожаров, краж, убийств, мошенничеств и всех прочих уголовных происшествий.

Стиль статей в этой газете был феерический. Я помню, как по поводу какого-то пустякового постановления городской думы Финкель писал в передовой статье, что «следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет и аплодировать городской думе на крышах домов».

Старые репортеры рассказывали нам, молодежи, что если Финкель и был легендарен, то только своим гомерическим невежеством.

Из тех репортеров, которых боялся Чехов, у нас в «Моряке» застрял только один – Лева Крупник, человек с обманчивой внешностью. Сухонький и кроткий, этот старичок с вкрадчивым голосом ходил в заштопанном чесучовом пиджаке и в золотом пенсне и распространял старорежимный запах тройного одеколona.

Несмотря на эту идилическую внешность, Лева был опасен, как ипритовая бомба. Иванов предупреждал меня об этом, но я не верил ему вплоть до одного чрезвычайного случая.

Летом я приходил в редакцию ранним утром. Я любил идти со своей Черноморской улицы до редакции медленно, выбирая любой путь из четырех возможных. Все они одинаково приводили на бульвар, к Воронцовскому дворцу.

Там пышно пылала, зацепившись за старые колонны, настурция и всегда веял – именно веял, а не дул – портовый ветер, солоноватый и свежий. Он наполнял приморские улицы запахом только что вымытых палуб.

Я садился на парапет над обрывом к порту и некоторое время сидел, закрыв глаза. Так я лучше ощущал на лице дыхание этого ветра. Я различал в нем не только запах палуб, но и акаций, и высохших водорослей, и ромашки, что цвела в трещинах подпорных стен, и, наконец, дегтя и ржавчины. Но все эти запахи по временам смывал особенный послегрозовой запах, что налетал с открытого моря. Его ни с чем нельзя было сравнить и ни с чем спутать. Как будто холодноватое от купания матовое девичье плечо прикасалось к моим щекам.

Так я просиживал на парапете, теряя представление о времени, погружаясь внутренним взором в мерцающую даль Голконды. Мне хотелось верить, и я в действительности верил, что эта цветущая страна существует на свете. Иногда мне казалось, что она приближается ко мне, наплывает, разгорается и гонит перед собой волны этого ветра, эти потоки легкого воздуха.

Подремав на парапете, я шел в редакцию. Дверь мне открывал абиссинец Варфоломей, наш редакционный парикмахер.

Он ночевал в некогда роскошной гостиной с облезлыми фресками на стенах. Они изображали богиню Аврору в розовом прозрачном хитоне. Она летела по небу среди бежевых облаков и сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья.

Меня всегда умиляла наивность художника, написавшего позади Авроры в голубой морской дымке одесскую лестницу к морю и памятник Дюку – герцогу Ришелье.

В моей редакционной комнате стоял еще прохладный воздух ночи. Я сидел к столу и до появления Люсьены (она всегда приходила вслед за мной) успевал кое-что написать «для себя». Я очень ценил эти два-три часа безлюдья в редакции.

Потом приходили сотрудники и заваливали мой стол написанными узкими полосками бумаги. Я правил весь день статьи, телеграммы и заметки. Правил до изнеможения, до того, что у меня начинала тупо болеть рука. Примерно половину заметок приходилось мне самому переписывать заново, чтобы убрать из них неистребимый одесско-молдаванский стиль.

В конце концов я полюбил правку. Ее навыки очень помогли мне в работе над своими рукописями.

Я был секретарем редакции, иными словами, должен был делать все: от правки и раздачи заданий репортерам до приема авторов и прекращения молниеносных скандалов, возникавших между молодыми и старыми репортерами.

Кроме того, я почти каждый вечер верстал вместе с Изей Лившицем очередной номер газеты.

Однажды я пришел очень рано и застал в редакции Леву Крупника. Он сидел на подоконнике и плакал, прижимая к глазам клетчатый платок. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

Я испугался и спросил, что случилось. Лева только отмахнулся от меня, подчеркивая этим жестом всю неуместность моего вопроса и мою не деликатность. Очевидно, горе его было так велико, что ему было не до расспросов.

Я налил в стакан воды и подал Лева. Он выпил ее вместе со своими слезами, снова махнул рукой и сказал:

– Лежит на столе... под простыней... Боже мой, боже мой!.. Вместе учились... восемь лет сидели на одной парте... вместе босяковали на Малой Арнаутской улице, и вот...

Он всхлипнул, высморкался и посмотрел на меня красными, припухшими глазками, ожидая сочувствия.

– Кто же умер? – несмело спросил я. – Кто-нибудь из ваших родных?

– Зачем? Слава богу, у меня нету родных.

– Так кто же?

– Художник Костанди! – воскликнул Лева таким тоном, будто с моей стороны было просто глупо задавать такие вопросы. – Глава южнорусской школы художников, – добавил он уже более спокойно. – Мастер! Бриллиантовая рука! И золотое сердце. Добрее его не было человека на свете.

Лева был безутешен. Мне стало его искренне жаль. Я не знал, как успокоить его. Внезапно у меня блеснула счастливая мысль, и я сказал:

– Возьмите себя в руки, сядьте и напишите некролог о Костанди. Для завтрашнего номера.

Лева поймал качающееся пенсне, криво прицепил его к носу, слез с пыльного подоконника, отряхнул брюки и неожиданно сказал капризным голосом:

– Так дайте же мне, по крайней мере, бумаги. На чем я буду писать? У нас в редакции не допросишься четвертушки на раскурку.

Я дал ему чистые с одной стороны старые гранки, но он презрительно хмыкнул и сказал, что на обороте старых гранок можно марать все, что угодно, – хронику происшествий или халтурные фельетоны, – но писать об умершем большом художнике просто неприлично и неуважительно.

Он явно привередничал. Я приписал это, как он сам выразился, его «расстроенным чувствам». Я дал ему несколько листов хорошей бумаги, ценившейся в редакции на вес золота.

Он ушел в соседнюю комнату, долго сморкался там, вздыхал и царапал по бумаге пером. Потом пришла Люсьена, ахнула, узнав, что умер Костанди, и сказала:

– Такой был чудный старик – и вдруг умер! А все эти бугаи, вроде Кынти, всякие жулики-рамолики живут и только морочат людям голову.

– Ах! – горестно воскликнул Лева. – Вы разрываете мое сердце, Люсьена Казимировна, своими грубыми выражениями!

– Подумаешь, какой сиреневый принц! – ответила Люсьена. – Нечего прикидываться безутешным, старик.

Потом Лева диктовал Люсьене некролог, и они ссорились из-за того, что старик требовал двух копий, а Люсьена божилась, что у нее осталась последняя копия и с Левы хватит одной копии. Но все-таки Лева добился своего и ушел из редакции, захватив копию, очевидно на память.

Я прочел некролог, выправил его (в том месте, где Лева сравнивал кисть Костанди с божественной кистью Рафаэля) и послал в типографию.

Я вспомнил, как Лева тяжело вздыхал, уходя домой, и сказал Люсьене:

– Как вам не совестно преследовать этого несчастного, беззащитного старикана!

– Это кто несчастный? – спросила Люсьена. – Крупник? И это кто беззащитный, позвольте спросить? Тот же Крупник? Подождите, он еще подложит вам такую свинью, что вы проклянете день своего рождения. Вы все, московские, какие-то сентиментальные.

В это время пришел наш корректор Коля Гаджаев, юный студент Новороссийского университета, знаток левой живописи и поэзии.

Колины суждения отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля.

Всех инакомыслящих Коля презирал и считал «мусорными людишками» – чем-то вроде тараканов. Говоря о своих идейных противниках, он морщился и, по всей видимости, испытывал физическую тошноту.

Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту, а Георгия Шенгели считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме.

– Коля! – крикнула ему Люсьена. – Вы слышали? Умер художник Костанди!

– Ваш Костанди не художник, а свиновод! – неожиданно закричал ей в ответ Коля и почернел от негодования. – Как можно так швыряться словом «художник»! Он всю жизнь держался за протертые штаны передвижников. Не говорите мне о нем!

Начали собираться сотрудники. Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами.

Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода «Камилла Гильберт» или землетрясение в Аравии.

Его возбуждал самый ход жизни, все перипетии и подробности ее движения, все ее перемены, независимо от того, что это может принести с собой: беду или счастье. Это было для него вопросом тоже важным, но все же второстепенным.

По поводу смерти Костанди Аренберг высказался в том смысле, что Костанди – это, конечно, не Репин. Это вызвало новый взрыв негодования со стороны Коли Гаджаева, но теперь уже не против Костанди, а против Репина.

– Старый чудак, объевшийся сеном! – сказал Коля о Репине и ушел, даже не глядя по сторонам, очевидно от презрения ко всем нам.

У Репина были свои странности, и одна из них – вера в целебные свойства супа из свежего сена. Эта история с сеном особенно возмущала Колю.

Потом пришли Иванов и репортер Ловенгард, седой, высокий, с донкихотской бородкой и с палкой в руке, похожей на короткую пику. Всю жизнь Ловенгард обслуживал в газетах Одесский порт, знал его до последней причальной пушки и потому сказал, что о художнике

Костанди он судить не может, так как никогда не слышал о его существовании, но вот капитан Костанди с парохода «Труженник моря» – тот был, конечно...

Но тут его перебили. Он сел в угол, положил руки на свою палку, закрыл глаза и так просидел довольно долго, о чем-то размышляя. Это была его обычная поза.

По вечерам я часто заходил в типографию проверить, как верстается очередной номер, поболтать с выпускающим Изей Лившицем и метранпажем Суходольским и вообще подышать воздухом типографии.

Со времени работы в «Моряке» я пристрастился к типографиям. Даже запах краски и свинца был для меня «сладок и приятен». Я полюбил наборщиков, их насмешливость, их обширные, хотя и случайные, познания, их безжалостные оценки и даже самую манеру набирать, покачиваясь около наборных касс, как качаются мусульмане, совершая намаз или читая Коран.

Темные, пыльные, низкие типографии, сырые оттиски, гул плоских печатных машин, пачки разноцветных бандеролей, рулоны бумаги, традиционные яростные схватки с корректорами, остывающий чай на подоконниках, вазон с геранью на окне, запах ее шершавых листьев – все это представлялось мне в несколько романтическом ореоле, очевидно, потому, что здесь рождались газеты и книги, географические карты и афиши, календари и расписания пароходных рейсов.

Кажется, я никогда не забуду черный и липкий от краски, грубый деревянный стол у открытого окна типографии. За окном, за железной ржавой решеткой, висели, чуть поникнув от зноя, листья каштанов. Не забуду лиловый блеск на асфальте во дворе и сырую гранку с оттиснутыми на ней строчками стихов неизвестного мне поэта:

Закаты в августе! Плывут издалека
Полей дыхания и ветерки тугие,
И снежные встают над горем облака,
Такие белые, что даже голубые...

На полях корректор написал жирным синим карандашом: «Не над *горем*, а над *морем*». Я прочел эту пометку корректора и подумал, что наборщик ошибся не так уж плохо. Почему не могут встать над человеческим горем облака, как образчик умиротворяющей красоты, как отвлечение, врачующее сердце?

Но в тот вечер, о каком идет речь, в типографии было шумно. Еще со двора я услышал негодующий голос Изи Лившица и хохот наборщиков.

Когда я вошел в типографию, Изя Лившиц бросился ко мне, размахивая сырой, только что оттиснутой гранкой с некрологом Костанди.

– Кто дал в газету эту гнусность? – закричал он с такой яростью, что у него побелели даже глаза. – Какой негодяй?!

– Крупник, – растерянно ответил я.

– Я так и знал. Подонок! Шантажист!

– А что случилось?

– Случилась чрезвычайно интересная вещь. – Изя зловеще усмехнулся. – Чрезвычайно интересная. Чтобы его стукнуло брашпилем по башке, этого вашего «короля репортеров»! Случилось одно пустяковое обстоятельство. Я шел сейчас в типографию верстать газету и за два дома отсюда встретил воскресшего Костанди. И даже проводил его до Екатерининской улицы. И даже говорил с ним о будущей выставке его картин. И даже пожал его мужественную руку. И даже заметил пятно от синей масляной краски на его чесучовом пиджаке. И он нисколько не был похож на покойника, уверяю вас.

– Что это значит? – спросил я.

– Это значит, что Крупник гнусно наврал. Хотел заработать на мнимой сенсации лишних пять тысяч рублей. Вы скажете, что это бессмысленно, что за это его могут выгнать из «Моряка». Конечно, могут. Но Финкель за это не выгонял, и Крупник надеется, что и здесь все сойдет. Вранье – это его единственная верная черта. Он ей никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяет. А изменяет он всем и всему.

– Давить надо таких, как этот Лева! – сказал метранпаж Суходольский. – Я его видеть не могу. У меня ноги трясутся, когда я его вижу. У меня к сердцу подпирает от его лживого голоса.

Мы с Изей вынули из номера некролог о Костанди. Наутро «Моряк» вышел без некролога, но тотчас же этот некролог был обнаружен нами в «Одесских известиях», тот же самый, до последней запятой, некролог, который мы только что выбросили из «Моряка».

Вскоре в редакцию примчался репортер Аренберг и, сияя от внутренней газетной сенсации, сообщил, что Крупник прямо из «Моряка» двинул в «Известия» и подсунил им некролог с теми же крокодиловыми слезами, какие он проливал у нас в редакции. Лева на всякий случай решил застраховаться.

«Известия» принесли Костанди свои глубочайшие извинения, а «Моряк» напечатал об этом случае стихотворный фельетон Ядова. Он кончался словами:

Смотри в газетный номер
И, если что, смирись,
Коль сказано: ты умер, —
Скорее в гроб ложись.

Крупник исчез. Взбешенный Женька Иванов потребовал, чтобы ему доставили Крупника на расправу, живого или мертвого. Но его нигде не могли найти. Дома он не ночевал.

Прошло недели две. Однажды я, как всегда, очень рано пришел в редакцию, вошел в свою комнату и отступил: на пыльном подоконнике опять сидел Лева Крупник и плакал. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

– Извиняюсь, – сказал Лева прерывающимся голосом, – но вышла маленькая ошибка.

– Ошибка? – спросил я, чувствуя, как у меня холодеют руки.

– Да, – кротко согласился Лева. – Добросовестная ошибка. Оказывается, умер не художник Костанди, а чистильщик сапог Костанди. Однофамилец. Он жил в подвале того самого дома, где живет и художник. Легко, понимаете, спутать.

– Позвольте, – сказал я, приходя в себя, – вы же своими глазами видели его на столе, под простыней...

– В том-то и дело! – ответил, сморкаясь, Лева. – В подвале, понимаете, темно, а тут еще эта простыня... Кстати, я принес вам заметку о выставке Костанди. Она скоро откроется.

– Надо думать, – сказал я, – что это будет его посмертная выставка?

– Напрасно так шутите, – ответил с упреком Лева. – Это даже неприлично с вашей стороны!

– Знаете что! – сказал я. – Уходите! В «Моряке» вам больше нечего делать.

– Подумаешь! – воскликнул Лева сварливым голосом и встал. – Тоже мне газета! Паршивая свистулька! Я был одесским корреспондентом «Фигаро», а вы мне тычете в нос вашу селедочную листовку.

Я не успел ответить. Дверь распахнулась. На пороге стоял белый от гнева Иванов.

– Вон! – прокричал он ясным, металлическим голосом. – Вон немедленно!

Лева Крупник вскочил и засеменил к выходу, придерживая падающее пенсне.

Потом мы услышали, как он в сердцах плюнул на паркет в зале с богиней Авророй и застучал деревяшками по панели, навсегда удаляясь из «Моряка».

Так исчез из редакции последний из тех одесских репортеров, которых с полным основанием боялся Чехов.

«Что вы хотели, молодой человек?»

Патетический язык почти забыт. Современная жизнь требует простых выражений.

Но каким же языком описать то, по существу, неопишное одесское торжище, которое в двадцатых годах нашего века носило название «Новый базар»?

Как изобразить этот базар нам, отвыкшим от приподнятых слов? Как рассказать о вчерашних сыпнотифозных, толпившихся около раскаленных сковородок, где скручивались, потрескивая и жарясь в собственном жиру, куски домашней украинской колбасы с чесноком – первого детища нэпа?

Как передать множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерик, проклятий и ругани, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами, по потрясенной их топотом брусчатой мостовой? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами трещин?

Поскольку патетический язык нам чужд, придется говорить об одесском базаре обыденными словами.

Прежде всего нужно упомянуть о нескольких правилах, без знания которых нечего было и соваться на Новый базар.

Первое правило состояло в том, чтобы, толкаясь по базару, обязательно сохранить на лице бесстрастное и даже скучное выражение и ни в коем случае не показывать вида, что вы хотите что-нибудь купить. Потому что в этом случае десятки людей начинали цепко хватать вас за рукава, или сильно дергать сзади за гимнастерку, или, наконец, тянуть за хлястик шинели и кричать почти трагически, с выражением отчаянной надежды:

– Что вы хотели купить, молодой человек?

Никто не спрашивал, что вы хотите продать. Спрашивать об этом было бессмысленно: все, что человек хотел продать, он таскал на руках или вешал себе на шею.

Если же человек ничего не нес с собою, но глаза его подозрительно бегали, ища покупателей, то базарные завсегдатаи тотчас догадывались, что он торгует фальшивыми драгоценностями, и насмешливо кричали ему в спину:

– Бриллиантовые розы из навоза! Кораллы из крахмала! Халцедоны из бердичевской короны!

Но все же бывали и исключения, когда нельзя было сразу догадаться, чем человек торгует. Так было, например, с одним довольно потрепанным французским матросом по прозвищу Лева.

Он отстал от военного корабля, застрял в Одессе и был совершенно уверен, что в те феерические времена гражданской войны и ниспровержения международного права никто его не выдаст как дезертира французскому правительству.

Низенький, всегда небритый и недовольный, с длинным черным носом и яростными, презрительными глазами, в синей грязной шинели, в берете с алым помпоном, в рваном фиолетовом кашне, он молча бежал по Дерibasовской, энергично засунув руки в карманы шинели, и вдруг неожиданно, совершенно внезапно кричал, не останавливаясь, пронзительным фальцетом, слышным за несколько кварталов:

– Сами лучши! Сами крепки! Сами вечный!

Он никогда не называл свой товар. Его пробежка по Дерibasовской была похожа на смерч. Толпа завивалась вокруг него и потом шарахалась, прижимаясь к стенам. «Что он продает?» – растерянно спрашивали приезжие. Одесситы в ответ насмешливо пожимали плечами.

Мальчишки восторженно свистели вслед матросу. С ближайшего поста навстречу матросу торопливо шел милиционер, держа в руке роговой черный свисток.

Увидев милиционера, матрос наконец выкрикивал свой товар:

– Сами лучши камешка! Для зажигалка! Сами длинный! Для зажигалка!

Под этот победный клич он исчезал в глубине Садовой улицы, где тлел в седом чаду постного масла Новый базар, прибежище мешочников, старых генеральш и карманных воров.

Он был очень скульптурной фигурой, этот матрос, весь как бы вылепленный из терракоты и подкрашенный яркими красками.

Второе базарное правило заключалось в том, чтобы соглашаться на первую же цену, какую вам давали за ваши вещи. Пренебрежение этим правилом могло окончиться катастрофой, как это и случилось со мной.

У Васи Регинина тяжело заболела жена, хрупкая и грациозная женщина, совершенно беспомощная во всяческих практических делах.

Кроме жены, у Регинина была еще маленькая дочь Кира, тихая девочка лет шести.

Регинин совершенно раскисал из-за частых болезней жены. Он растерянно носился по городу. Он глох от волнения, стараясь достать немного денег и какое-то фантастическое в то время лекарство (кажется, горчичник), а меня слезно упросил загнать на базаре его великолепный ватин.

То был добротный, легкий, как пух, ватин. По моим понятиям, он представлял огромную ценность.

Я не знал, почему Регинин попросил продать этот ватин именно меня. Насколько помню, он упоминал о моей находчивости и ссылался на собственную негодность для этого дела. Он льстил мне, и я поверил ему.

Я зашел к Регинину, взял ватин, свернул его рулоном и пошел на базар. Это было глупо с моей стороны, но тогда еще я не подозревал, куда иду. Я спокойно шел по Садовой улице, не зная, что это прямая дорога в ад.

Сначала никто даже не хотел смотреть на мой великолепный ватин. Все вели себя так, будто впервые слышали о ватине. «Это что? – спрашивали меня. – Материал на обивку кушетки? Или теплая обертка для недоношенных младенцев?»

Я оскорблялся, но молчал даже в тех случаях, когда нахальные женщины отщипывали от ватина кусочки, раздергивали их по отдельным волокнам и нюхали неизвестно зачем.

Наконец добродушный старик с сантиметром на шее (из этого я заключил, что он портной) дал мне за ватин сто тысяч рублей. Это были хорошие деньги. Но я решил продать ватин не меньше чем за двести тысяч рублей и этим осчастливить Регинина.

– У вас есть мозги в голове? – удивленно спросил меня портной. – Берите деньги и не разыгрывайте из себя барона Нобеля. Ваше счастье, что вы попали на честного человека.

Я отказался. Портной потоптался, потом сплюнул и ушел, покрикивая:

– Брюки галифе! Шьем перед глазами заказчика за два часа и с его материалом! Будут лежать как вылитые! Брюки галифе! Задаром! За триста тысяч рублей без приклада!

Следующий покупатель, маленький полупьяный грек, дал мне семьдесят тысяч. После него плаксивая женщина дала пятьдесят тысяч.

Время подходило к четырем часам, базар начинал пустеть. Грек снова вернулся откуда-то и предложил мне уже тридцать тысяч рублей.

Я послал его к черту. Тогда ко мне подошел босой парень в старой казацкой фуражке, сунул мне в руку десять тысяч рублей, сильно потянул у меня из-под локтя ватин и сказал:

– На, бери и катись с базара до своей Люсечки!

Я вырвал у него ватин и швырнул ему обратно его десятитысячную бумажку.

– Ах ты так, зараза! – сказал парень и полез за пазуху.

В это время взвизгнула старуха в шляпе с бархатными аютиными глазками. Она доторговывала последним, свернувшимся в жгут малокровным пирожком с картошкой. В ответ на визг старухи засвистел милиционер. Парень независимо и медленно пошел прочь, шевеля лопатками под линялой рубахой.

– Уходите скорее, – сказала мне старуха. – У него нож за пазухой. Я уже не могу видеть крови на базаре и вечно попадать в свидетели.

Уже смеркалось. Мой базарный день был бесславно окончен. Так я думал тогда по своей непроходимой наивности.

Я ушел с базара. Я шел и вдруг вспомнил, что и грека, и плаксивую женщину, и парня в казацкой фуражке я видел в самом начале базарного дня в толпе за рундуком – всех троих вместе. Только сейчас до моего сознания дошло, что около меня работала одна и та же шайка «маравихеров». Так в Одессе звали шпану, занимавшуюся сбиванием цен и, при удобном случае, базарными кражами и грабежами.

В базарных воротах мне встретился полупьяный грек. Он курил козью ножку и не обратил на меня внимания.

Я шел, и какой-то едкий, пакостный запах преследовал меня до ближайшего перекрестка. На перекрестке меня окликнула торговка семечками.

– Вы же горите, молодой человек! – крикнула она мне. – С вас дым идет, как с паровоза. Я оглянулся. Из свернутого ватина шел белый едкий дым.

Я развернул рулон. По нему расползлся, чадя и вспыхивая, огненный узор.

Я хотел затоптать этот ползучий огонь, но напрасно: он извивался, как десятки маленьких змей, и расползлся по ватину все дальше. Единственное, что мне оставалось сделать, – это отшвырнуть ногой горящий ватин на мостовую.

– Я думаю, – сказала торговка, – что у вас была на базаре крупная неприятность с «маравихерами», молодой человек. И они по злобе подожгли вам сзади ватин. Папироской.

Я вспомнил полупьяного грека в воротах базара. Это была его работа.

Вокруг горящего ватина собралась толпа. Торговка семечками рассказывала всем, крича и возмущенно жестикулируя, мою горестную историю.

Я не пошел к Регинину. Меня душили отвращение, гнев, стыд. Я проклинал всех, кто считал, будто в воровском и бандитском мире есть следы какой-то романтики. Сплошная чушь! Рассказни для слюнтяев и доверчивых дураков.

Я поклялся себе страшной клятвой, что больше ни разу не пойду на базар.

Наутро мне надо было достать где-нибудь не меньше двухсот тысяч рублей – за эти деньги я обещал Регинину продать его ватин. Я ломал себе голову над этим, наконец решился и пошел к Мозеру. Он слыл среди нас человеком вполне состоятельным.

Мозер и его жена очень жалели меня, охали, возмущались, напоили чаем и дали два больших листа денег (каждый по сто тысяч рублей). Я свернул их в рулон и пошел к Регинину. Казалось, никогда в жизни я не испытывал такой легкости на душе, как в тот день.

Из этого случая с ватином вытекало третье базарное правило: никогда не носить вещей у себя за спиной. Потому, конечно, что их незаметно разрезали лезвием безопасной бритвы или поджигали, а потом эти испорченные вещи шли за бесценнок.

Но избавиться навсегда от базара, несмотря на клятвы, мне, конечно, не удалось. Государственных товаров в городе почти не было, если не считать бязи, некоторого количества шапок-ушанок и ватников.

Эти шапки-ушанки с искусственной серой мерлушкой привозились почему-то спрессованными в огромные тюки. Тюки эти лежали в магазинах, их никто не распаковывал, и они распространяли запах тления.

На базар приходилось ходить за всем, особенно за лесками и рыболовными крючками.

Каждый раз после базара я возвращался в глухом раздражении, подавленный и униженный. Униженный зрелищем бесстыдной алчности, беспомощной нищеты, глумления над людским достоинством, животной грубости и обмана.

Особенно много было жульничества – мелкого, шмыгающего глазами и наглого.

В тени под всеми рундуками играли в «три листика», в «узелок», в «кости», передергивали и дрались. Испитые шулера рыдали в голос, размазывая по лицу кровь и грозясь рассчитаться с обидчиками такими изощренными способами, что от них холодела кожа на голове.

Бродячим сумасшедшим привязывали сзади, к отрепьям, пуки газет и поджигали их.

Иногда в укромных углах базара неожиданно собирались плотные толпы. Люди молча, с яростным любопытством продирались вперед, к середине толпы, где слышались тупые удары и заглушенные крики: там, зверея, били вора или обыскивали, раздевая догола, женщину, заподозренную в краже, под визгливый хохот деревенских простоволосых кулачек.

Иной раз невозможно было понять, что происходит. Вор вырывался и, кривляясь, избитый, весь в кровоподтеках, начинал изображать какой-нибудь похабный танец под дружный и одобрительный рев толпы, а раздетая женщина вцеплялась в волосы обокраденной, и обе они долго катались в пыли.

До одесского базара я никогда не видел такого скопления в одном месте человеческой скверны и злобы. И это было тем удивительнее и тяжелее, что рядом сверкало теплое море, шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям, на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей, пахло цветами, и низко горели в морских даях чистые звезды, похожие на огни бакенов.

Но и на базаре попадались хорошие люди. Все это были чудачки или люди с изломанной, пустой жизнью, но здесь они казались образцами человечности.

Помню подслеповатого старика. Он торговал фотографиями для стереоскопа. Его постоянно окружали дети. Весь день он бесплатно показывал им виды Парижа и Рима, Москвы и острова Мадейра. Совершенно невозможно было понять, чем он живет. В то время ни единая живая душа (кроме Изи Лившица) не покупала фотографий для стереоскопа. Да и Изя покупал их только из жалости к этому старику.

Рядом со стариком стоял на мостовой выцветший, пыльный глобус. За пятьдесят рублей каждый желающий мог повертеть этот глобус и поискать на нем разные заманчивые страны и города, вроде острова Пасхи, реки Замбези или города Каракаса.

Невдалеке от этого старика поместился гадалщик-графолог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты.

Гадал он сердито, выговаривая гадающим, и даже кричал на них. Но, несмотря на это, клиенты его любили, особенно женщины.

А кричал он вещи удивительные.

– Я же вам три раза уже нагадал, гражданочка, – кричал он заморенной женщине, – чтобы вы бросили этого вашего сожителя, если не хотите попасть вместе с ним в арестантские роты.

– Оно и верно, надо бы бросить, – неуверенно соглашалась женщина.

– Бросай, Верка! Видишь же, человек тебе желает добра, – уговаривали ее подруги.

– Выходит, – обиженно кричал гадалщик, – что я, как паразит, деньги с вас высасываю и получаю каждый раз по триста рублей. А все через вашу нерешительность! Это что за безобразие! Раз не хотите меня слушать, так и не ходите до меня. Я вам больше гадать не буду. Хватит.

В другой раз он кричал:

– Судя по начертанию букв, очень много об себе понимаете, отрок. Ходите таким фонбароном и фон-трезвоном. А правильное соответствие жизни достигается только путем науки и терпения, а не нахальства и гавканья. Я давно замечаю, что вы всё крутитесь в компании с Витькой «Десятка трэф» – вместо того чтобы честно работать и радовать престарелых родителей.

Но самым трогательным оказался старый торговец кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную лавчонку с вывеской «Варшавские кепы».

Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным – унылым, болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, похрапывая, а старик, нацепив очки, медленно читал газету, вздыхал и недовольно поглядывал на редких покупателей.

Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Лифшицем.

– Зачем вам новая кепка? – сердито спросил Зусман Яшу. – У вас же еще вполне приличная.

– Это уж мое дело! – так же сердито ответил Яша.

– Привыкли разбрасываться кепками? – иронически спросил Зусман. – Ваше дело! Миля, дай этому товарищу какую-нибудь кепочку. А мне надо зайти до соседа.

Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал перед ним зеркало и два раза чуть не уронил его, засыпая.

Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли она ему.

Я не успел ответить. Вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил:

– Миля, где же тот покупатель, который только что заходил до лавки?

– Так вот он, – уныло ответил Миля и показал на Яшу.

– Нет! – вскричал Зусман, отступил, всплеснул руками, и бородатое его лицо расплылось в счастливую улыбку. – Нет! Что ты выдумываешь, Миля! Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке, настоящий лорд Чемберлен. А тот покупатель был, извините, совершенно затрущенный и смахивал на босяка.

– Так это же он, – так же уныло подтвердил Миля. – Только он в новой кепке.

– Ай-ай-ай! – закричал Зусман. – Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за сто тысяч рублей! Если она, конечно, сшита хорошим мастером! Она может сделать чудо!

Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал до слез, довольный своей выдумкой, и дружески похлопал Яшу по плечу.

– Торговля с нас делает артистов, – говорил он сквозь смех. – Из меня бы вышел комик, честное слово! Будем знакомы. Приходите когда до меня поговорить, а то можно пропасть в этой пустой лавке. Я вам сошью такую летнюю кепку, что сам Ллойд-Джордж не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни. Абы только достать хороший материал.

Все были очень довольны, а Миля снова уже сидел на табуретке за прилавком, клевал носом и всхрапывал.

– Сами можете убедиться, – сказал со вздохом Зусман и кивнул на Милю, – какой у меня собеседник. Это же только сойти с ума и умереть!

«Что вы хотели, молодой человек?» – спрашивали меня каждый раз на одесском базаре. Что я хотел? Я хотел одного: чтобы это капище нищеты и грязи было сожжено, развеяно по ветру. В конце концов так и случилось.

Да, кстати, Регинин поверил, что я продал его ватин за двести тысяч рублей. Обман обнаружился только через двадцать лет в Москве, и Регинин торжественно вернул мне эти двести тысяч рублей в виде двух десятирублевых бумажек выпуска 1939 года. При этом он по своей манере бесшумно трясся от смеха.

«Мопассанов я вам гарантирую»

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Бенья) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того, как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно углекислой воде.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все, написанное этим человеком, никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был замечен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, – напев размеренный и пышный.

Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры – от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Вермеера Дельфтского до Александра Блока.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. Но конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его

следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

– У нас в Одессе, – сказал он, насмешливо поблескивая глазами, – не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую.

Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью большой писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.

Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчишки». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчишки» боготворили Бабеля. Старые литераторы – их в то время собралось в Одессе несколько человек, – равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и перевода книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок, и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока, и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от дачи Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходящей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самолосы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенькой нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем, потому что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременно цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку, и много-много, если вдруг вспоминал какую-нибудь характерную морщину у них на лице. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издали уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

– Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За «куриные яички». Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

– Вы окончательно сказались, молодой человек? Или что?

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «мосье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.

Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздохавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строки:

Звезда полей над отчим домом,
И матери моей печальная рука...

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне – единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос – подарок царю Александру от турецкого султана Абдул Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Циреса и его мрачной медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее прямым бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарным Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Циреса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.

Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.

Бабель посвятил Циреса в цель своего изучения Молдаванки. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

– Ой, мосье Бабель! – сказал он, качая головой. – Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

– Каких? – спросил Бабель.

– Я знаю каких! – уклончиво ответил Цирес. – Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, мосье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

– Что ты с этого будешь иметь, скупец! – говорила она Циресу. – Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.

– Лягаши только ждут именно твоего Бройде, чтобы его захватить, – неуверенно отбивался Цирес.

– Как бы тебя не захватили раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи.

Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истерический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу. Там за толстыми стенами на четвертом этаже было тихо, темно, безопасно, а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка, – говорил он, – совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент – «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезать на провал из-за скаредности Циреса, польстившего на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство – выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Циреса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате – начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

– Прошу вас, – сказал он Бабелю, – взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность, даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю:

– Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

– Чтоб ты опился, Симеон, – она называла Сеньку его полным именем, – водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчики с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скопив глаза на Циреса, он сказал:

– Спутались с фраером, мосье Цирес? Поздравляю! Знаете новый советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

– Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? – спросил, сладко улыбаясь, Цирес. – Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог себе позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

– А ну, рассказывайте, старый паяц, – сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. – Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

– Завтра, – очень тихо произнес Цирес, – в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

– Хорошо! – так же тихо ответил Сенька. – Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

– Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком – и все!

– А что же делать? – застонал Цирес. – Они сведут меня с ума, эти налетчики!

– Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайности, не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:

– Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

– Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

– Сарый Цирес. А тебя, Сеня?

– И меня старый Цирес.

– Итак? – спросил Пятирубель.

– Итак, старый Цирес больше не будет жить! – ответил Сеня.

– Аминь! – сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.

«Тот» мальчик

На даче у Бабеля жило много народу: сам Бабель, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица-жена Евгения Борисовна, сестра Бабеля Мери и, наконец, теща со своим маленьким внуком. Все это общество Бабель шуточно и непочтительно называл «кодлом».

И вот в один из июльских дней в семье Бабеля произошло удивительное событие.

Для того чтобы понять всю, как говорят, «соль» этого происшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля.

Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна.

В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре началась их взаимная любовь.

О женитьбе не могло быть и речи: Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужа богатой наследнице Гронфайна.

При первом же упоминании о замужестве Жени Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный и всем понятный звук: «П-с-с!» Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами: слишком много чести для этого невзрачного студента!

Влюбленным оставался только один выход – бежать в Одессу.

Так они и сделали.

А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону: старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось как в знаменитых стихах Саши Черного «Любовь – не картошка». Там при подобных же обстоятельствах папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник иссморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван «провокатором невиннейшей девушки, чистой, как мак».

Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу небритым и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубашке.

Но вот однажды до дома Гронфайна дошел ошеломляющий слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький – «Вы только подумайте, сам Максим Горький!», – что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят слова: «Большой талант!» А иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию.

Очевидно, старики просчитались, и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятельство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля – старуха Гронфайн.

Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева, для разрядки, внука – восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать.

В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему.

Мы с Изей Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена.

На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем и, если он не ел яиц, огорченно спрашивала:

– Бабель, – она называла его не по имени, а по фамилии, – почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?

– Благодарю вас, я не хочу.

– Значит, вы не любите свою тещу? – игриво говорила старуха и закатывала глаза. – А я их варила исключительно для вас.

Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола.

Мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «тот» мальчик. Что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был «тот» мальчик.

У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью. Скрыться от него было невысказано. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши.

Очевидно, от недавнего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины глаза. При этом Люся задавал до тридцати вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа.

То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл всухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом.

– А это что? – спрашивал он. – А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за крюк, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?

Легко представить себе, как мы «любили» этого мальчика. «Исчадие ада!» – говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь.

Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха.

Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.

– Все погибло! – стонал Бабель и хватался за голову. – Все пропало! Череп гудит, как медный котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой!

Все мы ломали голову над тем, как избавить Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай.

Однажды ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились с вечера, вместе идти купаться.

Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул и, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее.

– Фу-у! – вздохнул он с облегчением, увидев меня. – А я думал, что это Люська. Я могу работать, только пока это чудовище не проснется.

Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось много хуже, чем написанное чернилами.

Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы вовремя скрыться.

Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик (там, как он предполагал, были спрятаны самые интересные вещи), но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман.

После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабеля химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось.

– А-а! – закричал Люся. – Я знаю, что это такое! «Карандаш-барабаш, все, что хочешь, то и мажь!»

Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе:

– Это химический карандаш. Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу! Слышишь!

– Химический, технический, драматический, кавыческий! – запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания.

– О боже! – простонал Бабель. – Пойдемте скорее на берег. Я больше не могу.

– И я с вами, – крикнул Люся. – Бабушка мне позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя, я приведу ее сюда, и она сама вам скажет?

– Нет! – прорыдал Бабель измученным голосом. – Тысячу раз нет! Идемте!

Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом заговорщика:

– Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?

– Что вы заметили?

– Он отломил кончик от химического карандаша и засунул себе в ухо.

– Ну и что же? – спросил я. – Ничего особенного не будет.

– Не будет так не будет! – уныло согласился Бабель. – Черт с ним. Пусть ныряет.

Мы заговорили о Герцене, – Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой.

Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь:

Герцен-Мерцен сжарен с перцем!

Сжарен с перцем Герцен-Мерцен!

– Я вас умоляю, – сказал мне Бабель измученным голосом, – дайте этому байстрюку по шее. Иначе я за себя не отвечаю.

Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал, паясничая.

– У-у-у, зараза! – стиснув зубы, прошептал Бабель. Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе. – Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь.

Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с «яичком» («Бабель, так вы, значит, не любите свою тещу»), Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу, испускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало.

Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа.

Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая, женщины.

Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал:

– Больно, ой больно, ой больно!!

Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врет, что никакой боли нет и быть не может, потому что Люся нырял, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо...

Бабель схватил под столом мою руку и стиснул ее.

– Ни слова! – прошипел он. – Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех.

Теща рыдала. Мери вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люсю тотчас везли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу.

Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения на невежественных и бестолковых женщин:

– Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика. Разве в Одессе врачи? Шарлатаны! Все до одного! Вы же сами прекрасно знаете. Коновалы! Невежды! Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки.

– Что же мне делать, о господи! – закричала мадам Гронфайн, упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала. – О господи, открой мне глаза, что же мне делать!

Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип.

– И вы не знаете, что делать? – гневно спросил Бабель. – Вы? Природная киевлянка? У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу. Профессор Гринблат. Только ему можно довериться. Мой совет: везите ребенка в Киев. Немедленно!

Бабель посмотрел на часы.

– Поезд через три часа. Мери, перевяжи Люсе ухо. Потуже. Одевайте его. Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь.

Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее, как первоклассный актер.

С тех пор тишина и мир снизошли на 9-ю станцию Фонтана. Все мы снова почувствовали себя разумными существами. И снова вернулось потерянное ощущение крепко настоящего на жаре и запахе водорослей одесского лета.

А через неделю пришло из Киева письмо от тещи.

«Как вы думаете? – писала она возмущенно. – Что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше. Ничего больше, ни единой соринки. Как это вам нравится?»

Каторжная работа

После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».

Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда так сильно оно не завладевало почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изы отпуск окончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк – колючую ветку или створку раковины – целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользкой тени акации и рассматривал на земле все то, что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег, подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной. (Тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами.)

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согрело ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно, близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он,

очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укрепился и выбрасывал в высоту, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видимым огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.

– Вот вы и другие писатели, – сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем, – умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне.

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

– Бог знает, что вы говорите! – возмущаясь, сказал я.

Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

– У меня нет воображения, – упрямо повторил он. – Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз – «подлинность»! Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к черту мочартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это – вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Казбек. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

– Но у вас же литая проза, – сказал я. – Как вы добиваетесь этого?

– Только стилем, – ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина. – Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, пусть даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей, – как говорил один одесский журналист, – а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скарעד, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучился глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем сто страниц.

– Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.

Неужели в этой повести заключено около ста страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

– Позвольте, – сказал я, – я слышал, что «Любка Казак» – это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

– Да, – ответил он и покраснел от смущения. – Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц. Но здесь все варианты этого рассказа, включая и последний. А в общем, в рукописи сто страниц.

– Все варианты?! – пробормотал я.

– Слушайте! – сказал Бабель, уже сердясь. – Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это излишество? А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! – повторил он. – Я беру пустяк: анекдот, базарный рассказ – и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской гольш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как выучный мул. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня – и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоять не больше, чем изжеванный окурочок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

– У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Ну спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков.

Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.

– Я не выбирал себе национальности, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом. – Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.

– Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна, – сказал он вполголоса. – Закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

– Так вот, – сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью. – Я работаю, как мул. Но я не жалею. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не единожды, а по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать – если у меня хватит на это терпения – и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что, прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза – одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе – это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знако-

мое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у самого Куприна.

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты – прополка, вытягивание сказа в одну нитку. И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.

– Действительно каторжная работа, – сказал я. – Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

– А главное, – сказал Бабель, – заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот... – добавил он и помолчал. – Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замазает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей так и не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

– Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.